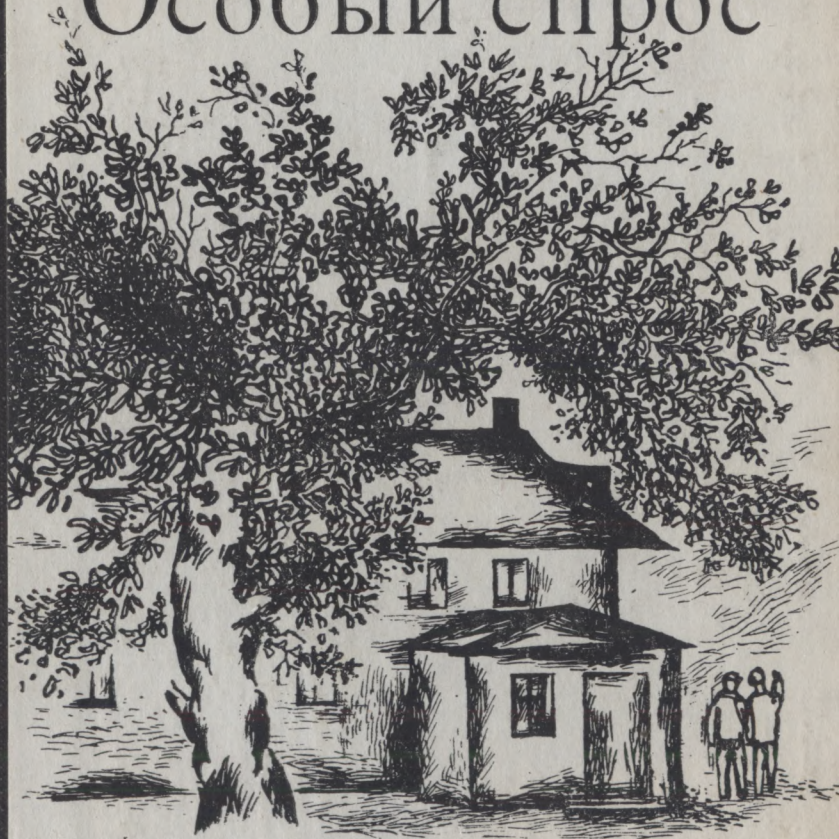


Особый спрос

ИВАН ЛЕПИН

ИВАН ЛЕПИН

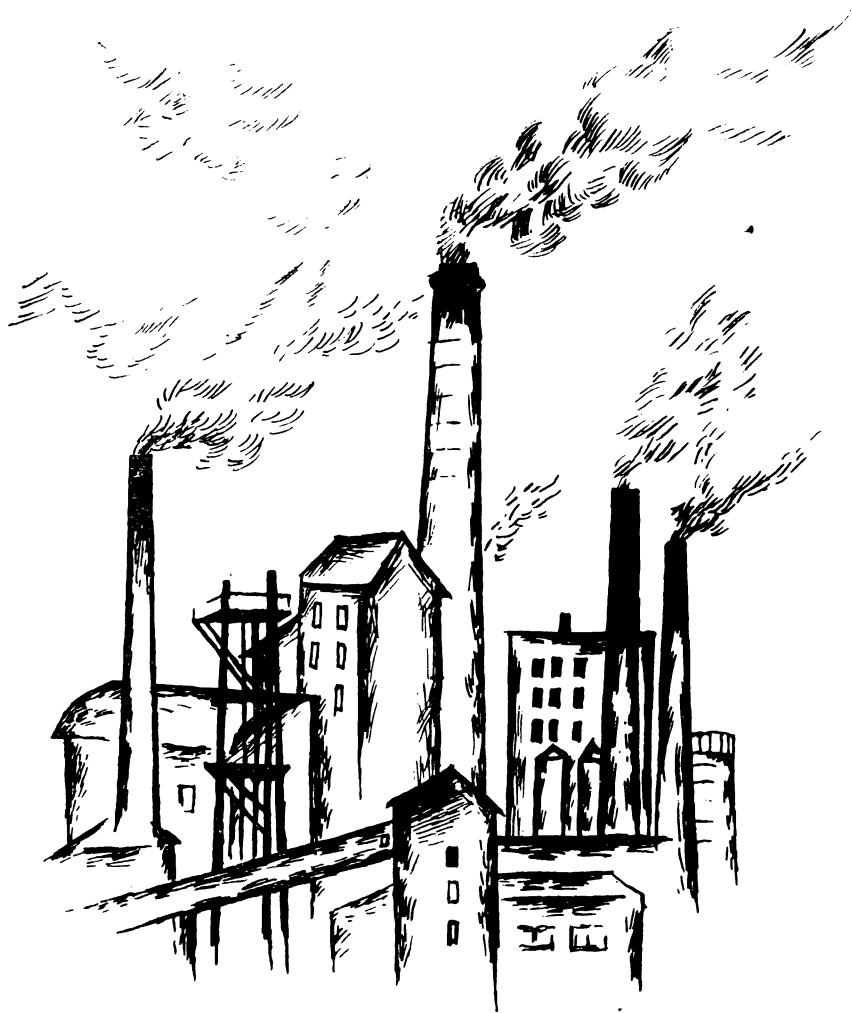
Особый спрос



"

"





ИВАН ЛЕПИН

Особый спрос



ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

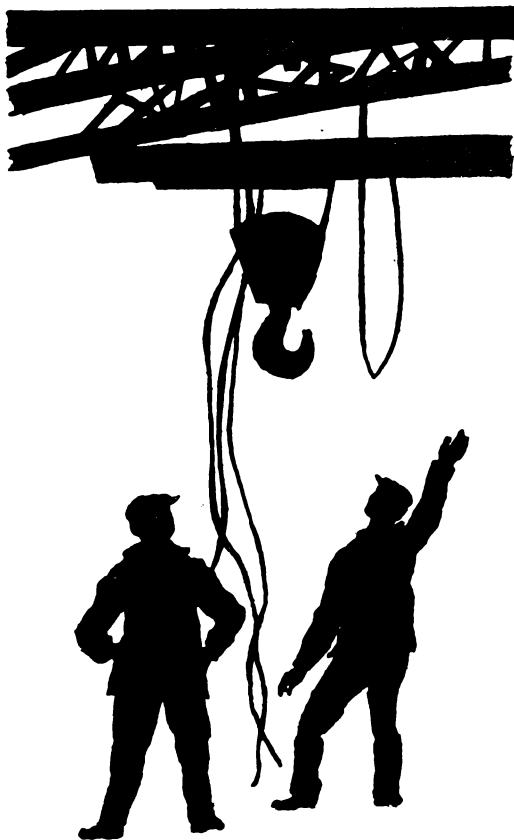
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА
1974

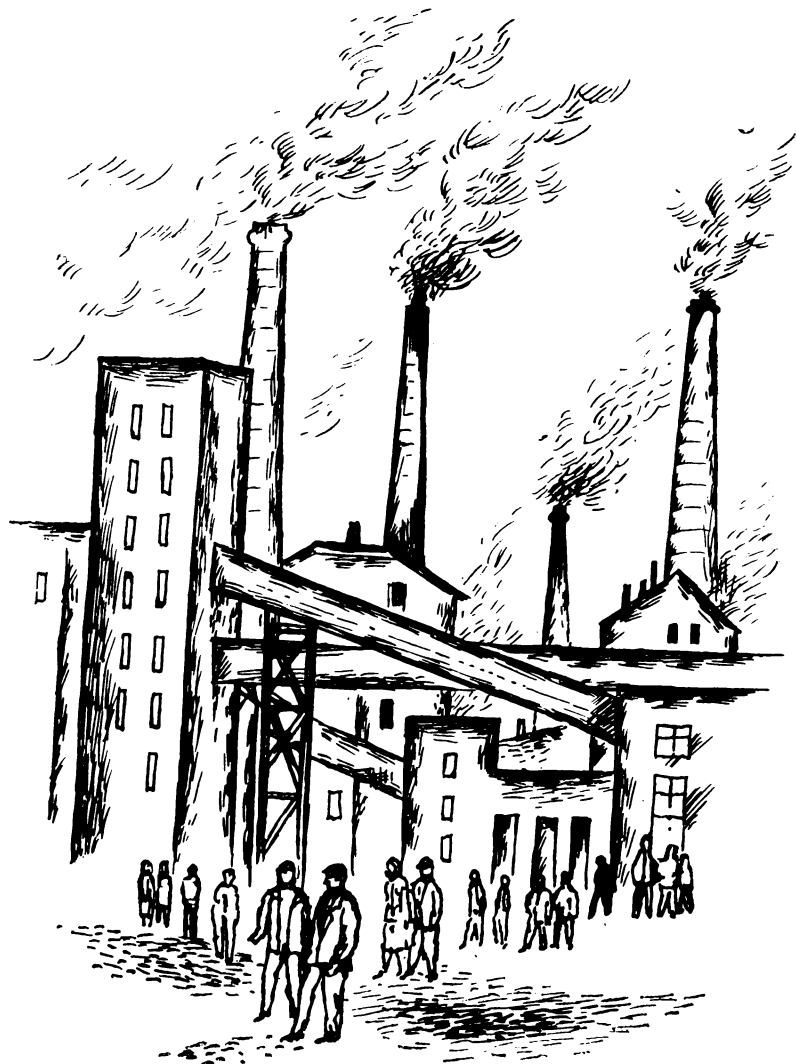
Молодой писатель Иван Лепин учился в сельской школе, затем в ремесленном училище. Работал на машиностроительном заводе, в редакции городской газеты в Донбассе, окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Сейчас живет в Перми.

«Особый спрос» — первая прозаическая книга писателя. В ней показаны самобытные характеры советских рабочих, людей по-настоящему честных, благородных и принципиальных.

© Издательство «Советский писатель», 1974 г.

РАССКАЗЫ.







УЧЕНИК

Мастер говорил токарю Заугольникову, показывая на рыжеволосого, среднего роста паренька:

— Вот тебе, Андрей, ученик. Зовут Коля Евдашкин, восемь классов, один у матери. Любопытный — по соседству живет, знаю его...

Колька стоял при этом, опустив голову, и немного краснел. Высокий Заугольников смотрел сверху вниз то на него, то на мастера и все собирался что-то сказать. Мастер же сделал знак единственной рукой: помолчи.

— Если что, Андрей, ослушается или там лениться будет — сообщи, я его по-соседски выпорю. Понял, Коля?

Евдашкин кивком головы ответил, что понял, и мастер хлопнул его по плечу:

— Отлично! — и заспешил вдоль пролета по своим неотложным делам.

Заугольников хотел окликнуть его, но от растерянности глухо просипел. И такое нехорошее чувство охватило его, будто на поезд опоздал. Подсунул-таки ему мастер ученика! Сколько раз отказывался, выкручивался, а тут он не дал ему опомниться. Без предварительной разведки действовал. Привел человека — и был таков.

На «заспинное» обучение Андрей Заугольников смотрел с недоверием. Сам он — еще после войны — заканчивал ремесленное училище и признавал только эту систему. «В нашем деле, — доказывал он, — теория важна. А кто ее «заспинникам» преподаст? Хорошо, если иной сам в книгу заглянет, большинство ж так всю жизнь и не знают, чем отличается метрическая резьба от дюймовой».

В чем-то Заугольников был прав, с ним соглашались, но соглашался и он, когда ему называли отличных токарей, бывших «заспинников». «Исключения бывают, — смягчал он контрудар, — а все равно я эту систему обучения не признаю». И по этой причине принципиально не взял ни одного ученика за пятнадцать лет работы на заводе.

Но про себя Заугольников рассуждал так: что даст ему возня с учеником? Несколько рублей доплаты. А кто подсчитает, сколько потеряет он? То и дело надо отвлекаться, объяснять ученику, что к чему, время от времени доверять ему станок и терпеливо присматривать, как ученик с опаской подводит резец к детали и долго ищет ручку самохода. Это для людей с ленцой удобны ученики. Лишний раз не разогнется — не случайно у него выработка самая высокая в смене.

И вот к нему приставили ученика... «Пойти с мастером, что ль, поругаться? Мастер, известно, начнет к совести зывать, на сообразательства ссылаться, по которым смена должна подготoвить столько-то токарей.

Опять же, не резон ссориться с мастером — от него заработок зависит. Да и знакомый этот паренек мастеру, сосед, говорит...»

— Как зовут-то тебя, не расслышал?

— Евдашкин. Николай.

Заугольников улыбнулся уголком рта.

— Чудная фамилия... Токарем, значит, хочешь стать?

Новичок кивнул:

— Угу. Нравится мне...

— А станок-то ты хоть раз досель видел?

— Видел, — чуть осмелел Колька. — В школе у нас.

— Ну, в таком разе становись, может, что и выйдет из тебя.

Евдашкин встал справа от своего учителя и робко принялся подглядывать, что он делает. Заугольников растачивал втулки, находился все время в движении и почти не обращал внимания на Кольку. Лишь когда вставлял в патрон новую заготовку, то несколько секунд хитровато вглядывался в ученика и каждый раз как бы удивлялся: ты, мол, еще здесь, еще не сбежал, еще смотришь? Ну смотри, мне пока некогда с тобой возиться.

Так, в молчании, прошел, наверное, час. Для Кольки, человека по натуре общительного, разговорчивого, молчание было тяжким испытанием, но он боялся первым произнести слово. А вдруг, думал он, у станка, как и на уроке, нельзя разговаривать? Но у соседних станков токари часто перебрасывались между собой шутками, а некоторые даже пели, и Колька убедился, что тут другие порядки, не школьные. И тогда, собравшись с духом, он дрожащим голосом спросил:

— А что это?

Сутулый Заугольников удивленно повернул голову: «Гляди-ка, ученик еще — и интересуется. Ответить, что ль, ему?»

— Это — штангенциркуль. Измерительный инструмент, точность — до одной десятой. А есть еще — до пяти сотых, а микрометр — до одной сотой. А еще есть скобы, пробки, резьбомеры... Наша профессия, брат, сложная.

Колька название инструмента не запомнил, но был доволен уже тем, что учитель заговорил. И не пресек, а обстоятельно ответил. Значит, можно помаленьку спрашивать. Вопросов было много, и Евдашкин не знал, какой высказать следующий.

— А почему у вас стружка вьется, а вон у того, напротив что, ползет? — Колька наострил слух, чтобы не пропустить ни слова.

Заугольников как раз патрон откручивал. Он ухмыльнулся:

— Ты про Хохлова, что ль? Он, как ты вот, год учился, на техминимум ходил, а так ума и не набрался. Резец ведь под определенным углом нужно затачивать, канавку для каждой операции особую делать, а он вообще чуть ли не без канавок. Не поймет, дурачок, что сливная стружка работать мешает, да и опасна. В нашем деле головой надо думать.

Колька мало что понял в канавках, но почувствовал себя уже совсем смело. И задал почти фантастический вопрос:

— А сколько вы за день стружки снимаете?

Заугольников на удивление спокойно ответил:

— Это легко подсчитать. Сначала — сколько за минуту. Формула скорости резания есть: постоянное число умножить на диаметр детали и число оборотов, затем

разделить на тысячу. В нашем деле без теории — шагу не ступишь. Или будешь вот таким, как Хохлов... Ну, бывают там исключения...

Колька ошалело моргал. Куда ему с его восьмилетним образованием разобраться в этой формуле?! Он даже удивился, что и тут, в токарном деле, какие-то формулы есть. По наивности, он о своем ученичестве думал проще: присмотрюсь, мол, а там и сам попробую. А тут, оказывается, целая наука!

До обеда он больше ни о чем не расспрашивал Заугольников, как-то вдруг потеряв интерес, обкатывал крамольную мысль: «А не дерануть ли?» Правда, вскоре сам себя устыдил Евдашкин за то, что подумал так. «Да меня бы весь дом, все дружки засмеяли, узнав об уходе с завода. Ведь сам я целое лето хвастал при любом удобном случае, что пойду учиться на токаря. У многих ребят глаза от зависти поблескивали».

С первых же минут обеденного перерыва цех опустел, затишье. Колька даже не сообразил сначала, почему так стало тихо. Но, осмотревшись, понял: все станки выключены. Один только их станок урчал. Заугольников не уходил; глядя на него, не смел отлучиться и Колька. Но, оказывается, он усердствовал напрасно.

— А ты чего не идешь? — спросил, разогнувшись, Заугольников. — Ладно, я привык без обеда — у меня дети, зарабатывать нужно... Ты иди, иди. Заодно пирожков принеси. — Он полез в карман, достал засаленный старый бумажник, покопался в нем. — Мелочи, как на грех, нет. Купи за свои, потом расплатимся. Свои-то есть?

Колька кивнул: «Есть!» — и кинулся к выходу, замысловато петляя при этом между отдыхавших станков. На душе у него было легко и радостно. На улице он подпрыгивал, срывал листья с тополей вдоль аллеи,

ведущей к столовой. Сентябрьское солнце било ему в глаза, он шурился. По дороге он мазнул замасленными пальцами себя по лицу, чтоб хоть чем-то походить на рабочего человека. В столовой он не заметил, как подошла очередь, как съел свой обед, и чуть было не забыл про пирожки. Вспомнил, когда вышел. Пришлось возвращаться.

На обратном пути Колька Евдашкин совсем уверился, что жизнь прекрасна и удивительна, что нет повода отчаиваться. Это поначалу все кажется сложным и непостижимым, а потом непостижимое станет обыденным. Как учили Кольку в школе, человек, если он того захочет, сможет все. Нужно лишь иметь силу воли и ясную цель. И то, и другое у Кольки есть. Сегодня же он возьмет в библиотеке учебник «Токарное дело» и выучит его на зубок. Даже формулы запомнит. Заугольников пугает его, но это он, наверное, специально делает, чтоб не представлял Колька овладение профессией делом легким и всем доступным.

Учитель труда в школе тоже таким приемом пользовался.

Заугольников по-прежнему не разгибался. Колька тихонько подошел сзади, положил завернутые пирожки на маленький стеллаж, что стоял тут же, у станка, по левую руку Заугольникова.

— Вот... Принес...

Заугольников не обратил на Кольку внимания. Он напряженно и внимательно смотрел то на патрон, то на деления на лимбе. От быстро вращающегося патрона шел ветерок, и Евдашкин удивился, как это учитель не боится летящих мимо самого лица стружек.

Наконец Заугольников выключил станок.

— Ты уже здесь? — сказал он. — Хе, и пирожки принес? Молоток! — Он вытер руки ветошью, взял двумя

пальцами за самый кончик лоснящийся поджаренный пирожок и сразу откусил половину. Лицо Заугольниково было худое, кожа на нем натянулась. — Люблю пирожки! Дешево и вкусно! Мне всегда Хохлов приносил, теперь заупрямился. Других просить напрасно.

Заугольников так же смачно отправил в рот вторую половину пирожка. Он взял другой пирожок, присел на корточки, упершись в станок.

— Ты, не заметил, куришь, Николай?

Евдашкин покраснел.

— Баловался...

— Я к чему? — продолжал Заугольников, медленно жуя. — К тому, что токарю курение, как никому, — помеха. У токаря секунды на счету, а курение знаешь сколько этих драгоценных секунд отбирает? Я это почувствовал, когда бросил. Так что учти...

Колька согласно кивнул.

— А ты чего слесарем, кстати, не пошел? Там курить можно — не тот темп. Заработки, правда, меньше, но зато накуришься. — Заугольников хитровато подмигнул: — Можно было сварщиком пойти — сварщики ничего получают. Вредно только у них... Но опять же — отпуск месячный. То на то. Так что не лучшее ты, Николай, выбрал. Не лучшая наша профессия. Грязная, дым от масляных заготовок, стружка нет-нет в глаза или за пазуху заскакивает. И никакой для нас вредности, вроде тут ароматом дышишь. Чтоб заработать — вкалывать надо будь спок! Вишь, даже на обед не хожу. Так что, пока не поздно — подумай.

Колька слушал стоя, машинально вращая какой-то маховик туда-сюда. Хорошее настроение постепенно пропало, речи Заугольникова были подобны холодной воде, и Евдашкину казалось, что он медленно погружается

в эту воду. Вот она уже по шею ему, скоро до рта дойдет, и Колька начнет захлебываться.

Но пирожки кончились, и Заугольников снова включил станок. Опять потянулись молчаливые минуты.

Кольке нравилось, как Заугольников работает. Он все делал не глядя: переключал какие-то рычаги, поворачивал резцы, измерял втулки тем самым инструментом, названия которого он не запомнил. И Колька, очарованный, снова поверил, что токарь — специальность интересная и что обижался на нее Заугольников зря. Просто так обижался, характер у него, наверное, такой.

— Ты мастера, соседа-то своего, давно знаешь? — неожиданно спросил Заугольников.

Колька просиял весь — молчание было для него тягостью.

— Давно! То есть два года, как дом заселили.

— А-а, тогда не знаешь, наверное. А может, знаешь. . .

— Что?

— Где он руку потерял?

— Не знаю.

— На станке. Токарем тоже был. Захватило его раз за рукав, ну и. . . пикнуть не успел. По локоть.

У Кольки дрожь прошла по спине, он испуганно сделал шаг назад. Станок теперь не казался ему таким уж безобидным. Особенно его настораживал бешено вращавшийся патрон, в котором была зажата заготовка. «А ну как Заугольников не совсем крепко закрепил ее? . . .» И снова холодок по спине.

— А недавно одну девку на станке раздело, — опять заговорил Заугольников. — Не в нашей, правда, смене. Вот таким валом, — он показал на медленно поворачивающийся вал с продольной прорезью, возле которого только что стоял Колька. — Она, та девка, растяпа. Ее за халат, потом за платье замотало — она и не заметила

как. Кинулась, а до выключателя не достать. Рванулась — полхалата и полплатья нет. Хорошо, что непрочные, а то кто бы знал, как обошлось... Наше дело, оно опасное, Николай...

Колька пугливо посмотрел по сторонам — не вращается ли рядом какой вал, не зацепит ли его. И если раньше угнетало его молчание Заугольниковова, то теперь он боялся каждого слова мастера.

Он еле дождался конца смены...

В дверь своей квартиры не вошел, а ввалился. Навстречу вышла улыбающаяся мать с недочищенной картошкой.

— Работничек мой! Устал, поди? Ну, рассказывай... Ты чего хмурый такой?

Колька молча разделся, умылся, молча прошел в спальню и ничком упал на кровать. Обида подступила к сердцу, страшная обида. Не таким он представлял себе первый рабочий день. Не таким учителя представлял. Этот Заугольников, должно, не учить его взялся, а отучать да стращать. И человек он мерзкий. За пирожки так и не расплатился. Как-нибудь потом, говорит. Скрыга он, жадина.

И тут услышал Колька, что к ним звонят, но не подумал подняться. Мать открыла дверь. По голосу соседа узнал, мастера своего.

— Ну, где твой рабочий класс, Степанида? Показывай, расспросить пришел.

— Проходите, там он, там...

Колька слышит, как мастер снимает обувь, как, громко топая, идет вслед за матерью к нему. Сейчас начнет расспрашивать, а у Кольки глаза полны слез, и он не в силах будет оторвать лицо от подушки и рассказать мастеру все, все, все.

В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Фому Сергеевича Симоненко срочно просил зайти начальник механического цеха Концов. Старый кладовщик инструментальной, однако, не торопился, силился угадать, зачем это он вдруг понадобился. Концов был человек строгий, его побаивались, рабочих вызывал он редко, но коль вызывал, то по двум причинам: или поздравить с чем, похвалить, или дать нагоняй.

Симоненко не мог припомнить, что особого он совершил в последнее время, чем отличился. Да и трудно отличаться кладовщику — это станочники нормы перевыполняют, качество повышают. А его дело самое рядовое — выдавать по требованию инструмент. Тут особой славы не заработаешь.

Не замечал Фома Сергеевич за собой и худого. Нес он свою тихую службу исправно, замечаний не имел, — наоборот, к Октябрьским праздникам тот же Концов даже благодарность ему вынес.

Он долго, основательно прикрывал окошко, через которое выдавал инструменты, а когда прикрыл, с минуту постоял и, не чувствуя за собой никакой вины, смело направился к начальнику.

Собравшись с духом, Фома Сергеевич резко дернул дверь кабинета.

— Разрешите?

— Да, да, заходите, — закивал головой Концов и рукой дал знак, чтобы проходил поближе к столу.

У начальника сидел мастер Гаврилов. Смену он принял с неделю назад, и Симоненко еще даже не был с ним знаком как следует. Правда, стычка у них уже произошла. Забежал Гаврилов вчера в инструментальную, шумный, энергичный, деловой, хотел взять без записи сверло

на сорок миллиметров, но Фома Сергеевич его остановил:

— Погодите, у нас это так не делается. У нас — порядок.

Гаврилов скривился, недовольно взглянул на кладовщика, но не стал спорить, а свел все дело к шутке:

— Я испытать вашу бдительность хотел.

«Неужели теперь нажаловался? Вел я себя прилично, а что без записи сверло не дал, так я правильно поступил, хоть Гаврилов и мой мастер...»

Концов переглянулся с Гавриловым и обратился к Симоненко:

— Как дела, Фома Сергеевич?

Симоненко ответил сдержанно и неопределенно:

— Так себе.

— Через месяц, слышал, на пенсию собираетесь?

Фома Сергеевич как-то не думал об этом. Когда далеко до пенсии было, то со своей старухой частенько планы строил. А сейчас, когда остались считанные дни, позабыл про пенсию. И старуха не напомнила ни разу. «Теперь Концов, видимо, уточнить хочет сроки, а может, — пронеслась самолюбивая мысль, — думают торжественные проводы мне устроить?»

Кладовщик ответил не спеша:

— На пенсию? Собираюсь, а как же!

— Да... — Концов тяжело вздохнул. — Уходят ветераны. Жаль... А может, повремените малость, сами ведь знаете, каково с кадрами?

У Фомы Сергеевича на душе полегчало. Значит, вот для чего вызвал его начальник цеха — уговаривать.

— Я-то, Григорий Иванович, и рад бы повременить, да уж здоровье не то, устаю больно. К тому же и молодым надо дорогу давать.

— Молодым — это верно, — согласился начальник

цека, — это закон природы — уступать им дорогу. Мы вот — слышали? — целую смену решили сделать молодежной. Вашу смену. Вот товарищ Гаврилов уверяет, что в передовые ее выведет. Сейчас ребят подбираем. А вы на пенсию затеяли. . .

Фоме Сергеевичу вдруг стало и впрямь неудобно перед Концовым. «Может, — размышлял он, — плюнуть на здоровье, задержаться на год-полтора? И верно, не очень красиво я поступаю — нынче замену кладовщику не так просто найти, не любят молодые мою профессию, неинтересной ее считают».

— Ладно, подумаю, Григорий Иванович.

Концов оживился.

— Отлично! Узнаю ветеранов! Кстати, Фома Сергеевич, предложеньице есть одно. . .

Симоненко насторожился. Он-то уходить собрался — там уж возле кладовой очередь, наверное, выстроилась, ждут его, а у начальника еще какое-то предложеньице.

— Слушаю. — Фома Сергеевич задержался.

— Я бы, конечно, мог приказом, но люблю решать дела по согласию. Как вы смотрите, если с напарницей, Тоней Ромашовой, сменами вам поменяться? Она — к Гаврилову, вы — к Дудареву.

Так вот куда Концов клонит! А про пенсию, выходит, он для затравки спрашивал. . . Гнев и обида всколыхнули Фому Сергеевича.

— Это чем же я Гаврилову не угодил? Что сверло без записи не дал? И не дам — при нем это повторю. Потому что ответственен я за инструмент.

Концов замахал руками, пытаясь успокоить кладовщика.

— Успокойтесь, Фома Сергеевич! Успокойтесь! Работник вы отменный, и товарищ Гаврилов ничего против вас не имеет. Но поймите вы и его: он взялся организовать

молодежную смену. Целиком! О его инициативе уже в городской газете напечатано. И каково будет Гаврилову, нам всем, если вдруг придут проверяющие или еще кто, а в молодежной смене окажется молодежи — раз-два и обчелся? Поймите нас — вы ветеран, вы должны понять. Подумайте. В конце работы зайдете.

Каждое слово Концова тушило пожар в душе Фомы Сергеевича. И он заколебался. Тихо вышел из кабинета, стараясь не волноваться. «Действительно, чего горячиться? Обдумать надо все, взвесить. Может, в интересах производства и будет оправдан переход в смену Дударева, — рассуждал Симоненко. — Концов — начальник с умом, зря не обидит человека. Вишь, приказом бы мог, говорит, а старается все по-человечески, как лучше...»

Вернувшись к себе в кладовую, Фома Сергеевич какое-то время пытался думать о чем-либо постороннем. На минуту-другую ему удавалось отвлечься, но вдруг опять брали сомнения, и он начинал тереть лоб — он всегда так делал, когда нервничал. Из небольшого квадратного окошка инструментальной кладовой ему хорошо был виден весь цех. За каждым станком — знакомый человек. Симоненко работает в цехе дольше всех и поэтому помнит, кто когда пришел на завод, у кого какой разряд, кто где учится. Он ко всем привык, и все привыкли к нему. Он знает, кто нерадив, а кто бережлив. Нерадивому он никогда новый инструмент не выдаст, чтоб не поломал случаем. А бережливому — пожалуйста: новый метчик, новое сверло, новую развертку, новую скобу. Это как награда за хорошее отношение к заводскому добру.

А в другой смене, в смене Дударева, ему заново привыкать нужно к людям. И это перед пенсией!..

Мысли его прервал подошедший к окошку токарь Павел Журавлев, председатель цехкома.

— Привет, Фома Сергеевич!

Симоненко невесело кивнул в ответ.

— Что глаза отворачиваешь, аль захандрил?

— Нездоровится, — сказал кладовщик.

— Ну-ну, нельзя болеть. . . Мне микрометр, пожалуйста.

Микрометры находились в дальнем углу инструментальной, Фома Сергеевич не спеша пробирался между полками и стеллажами. «Интересно, — спрашивал он себя при этом, — и Журавлеву предлагают в другую смену — он тоже в возрасте, под пятьдесят?»

Выдав Журавлеву микрометр и заставив расписаться в толстой книге, Фома Сергеевич придержал его за руку:

— Послушай, это вправду нашу смену разгоняют? Всех стариков, то есть.

Журавлев удивился:

— Разгоняют? Не слышал. Омолаживают — об этом знаю.

— Тебе предлагали?

— Предлагали. Но меня даже приказом не имеют права перевести. Согласие завкома нужно.

«Да, — с грустью подумал Симоненко, — за Журавлева завком постоит, а за меня кто?»

— Слушай, Павлик, посоветуй, как быть? К Дудареву просят перейти.

— Не хочется свою смену бросать?

— Сам знаешь. . . Уже третий десяток я здесь. . . Все мы — вроде семьи большой, а я — вроде отца. Самый старей. Больно мне от вас уходить. . .

Журавлева эти слова кладовщика тронули, ему даже показалось, что тут есть какая-то несправедливость, а он, председатель цехкома, проходит мимо нее.

— Хорошо, — с чувством вины пообещал Журав-

лев, — а я с Концовым перетолкую, может, тебя в порядке исключения оставят.

Немножко легче стало на душе у Фомы Сергеевича. И впрямь, что стоит Журавлеву перетолковать? Человек он уважаемый, общественный вес имеет. К нему прислушаются. Надо было сразу к Павлу обратиться...

«Только б старухе своей не проболтаться, что мне перевод предлагали, — размышлял Фома Сергеевич, — а то запилит. Укорять начнет: дожился, мол, из смены в смену только лодырей да нерадивых обычно стараются сплавить. И не докажешь ей, что из благих намерений мне предлагали к Дудареву перейти. А уж про то, чтоб с уходом на пенсию повременить, и не заикайся тогда. К самому директору прибежит — старуха у меня бедовая. Не проболтаться бы... Журавлев уладит, должен уладить... А без записи все равно никогда Гаврилову инструмент не дам...»

В КОНЦЕ МЕСЯЦА

1

Кузьма Павлович Роговец, бригадир слесарей-ремонтников, не любил последний день месяца.

В этот день, после обеда, приходил он в тесную комнатушку мастера и начинал кропотливую, нудную работу — закрывал наряды. Из своего потрепанного замасленного блокнотика переносил на бланки нарядов наименования выполненных работ. Мастер подписывал их и отдавал нормировщику, сидевшему за деревянной перегородкой в соседней комнате. Затем сверяли общий итог, и если заработок у ремонтников получается слишком высоким, мастер несколько нарядов оставлял у себя. Бывали, правда, случаи, когда часть оставленных нарядов по просьбе Роговца, человека решительного и смелого, умеющего постоять за себя и за бригаду, мастер включал в последующий, менее удачный месяц.

Такая система Роговцу была не по нутру, он восставал против нее на разных собраниях и совещаниях, но так и не смог нарушить негодную традицию мастеров.

Унаследовал этот опыт и молодой инженер Борис Гамазов. Его предшественник, уходя на пенсию, с хитровой улыбкой поучал Гамазова:

— Мы обязаны на каждое задание выписывать наряд. Это по правилам. Но ведь мороки сколько! А так — один день в месяц посидишь, а остальное время к бумагам и не прикасаешься. Учет бригады сами ведут, наше дело регулировать фонд зарплаты. Чтоб ни недобора, ни перебора не было. Особенно за перебор ругают.

И вот уже два года Гамазов исправно придерживался этой линии. Роговец по-прежнему ворчал, недовольни-

чал, но это мало действовало на уравновешенный характер мастера, и он не вступал с бригадиром в пререкания, а отгораживался, как щитом, удобной на многие случаи жизни фразой:

— Выходит, Кузьма Павлович, все идут не в ногу, один вы в ногу?

Бригадира это еще больше корежило, он зло бросал в сторону окурков и отпускал крепкое словцо вслед уходящему Гамазову. Слышал тот или не слышал — не обращивался. Кричи, наверное, размышлял он, кричи, раз таким крикливым уродился.

Сегодня, в последний день ноября, Роговец шел в конторку с плохим настроением. Видимо, сказывалась не по календарю задержавшаяся слякотная погода и то, что вместо привычного «Беломора» пришлось покупать «Север», поскольку цеховая буфетчица забыла получить папиросы. Хотя, если разобраться, для плохого настроения особых причин не было. Наряды он выписал, а нормировщик расценил их еще накануне. Полдела, считай, сделано. Осталось согласовать с Гамазовым — и можно быть свободным.

Но причина, чтобы расстроиться, была. Роговец уже клял себя за то, что прихватил наряды вчера домой и там вечером подсчитал общую сумму. Подсчитал и приуныл: заработок у слесарей получался низкий. Целый месяц на капитальном ремонте сидели, а он ценится хуже, чем средний или текущий. Ребятам можно было б и объяснить — пдняли б наверняка, но, с другой стороны, и обидно: работали слесари не хуже, чем в предыдущем месяце, да плюс два дня праздничных, а получали меньше... И все потому, что негодные расценки. Устарели, а прикоснуться к ним у руководства руки не доходят.

Мучился всю ночь Роговец. Успокаивало на короткие

минуты одно: мастер не все наряды закрыл в предыдущем месяце и теперь должен выручить.

Но этот спасательный круг был с проколом, из него свистел воздух. Дело в том, что Роговцу не позволяла гордость ходить в просителях. Гамазов начинал в таких случаях озабоченно вздыхать, хвататься за голову и глубокомысленно задумываться, подперев пухлые красные щеки такими же пухлыми, волосатыми руками. Он ждал от человека, если не унижения, то сознания зависимости от него. Ему это нравилось. А бригадиру было хуже зубной боли. То ли дело, когда случался «перебор»! Тут Роговец чувствовал себя хозяином положения.

На второй этаж, где находилась конторка, он поднимался медленно, будто страдал одышкой. Представил Гамазова, который учтиво сейчас подставит ему стул, расплываясь в неприятной улыбке, скажет: «С чего начнем, Кузьма Павлович?» И тут же добавит: «Ну, давайте ваши наряды...»

Поднявшись, он стрельнул мимо урны окурков, встряхнулся и ровно зашагал по коридору.

Комната мастера была закрыта на замок. Роговец заглянул к нормировщику — его там тоже не оказалось. «На совещание какое, что ли, ушли?» — подумал он. Направился в бухгалтерию — там всегда кто-нибудь есть. Не переступая через порог, спросил:

— Гамазов где?

Две женщины-бухгалтера переглянулись. Роговец уставился на молоденькую Клавочку. Она и ответила:

— На соревнованиях. А он вам разве не доложил? Вы, кстати, с нарядами? Давайте их сюда.

Роговец осторожно протиснулся между столов, боясь нечаянно прикоснуться к ним спецовкой, встал над Клавочкой.

— Не могу дать... Мне с Гамазовым кое-что уточнить надо... Так он будет?

Клавочка посмотрела вверх.

— Я же вам сказала: на соревнованиях. Наряды он потом, задним числом подпишет. А сейчас оставьте их, мы как раз начисляем...

Бригадир полез было в боковой карман за нарядами, но, будто уколовшись, выдернул руку.

— М-мне надо кой-что выяснить...

— Но Гамазова, может, и завтра не будет.

— Подождем до послезавтра.

Тут в разговор вступила соседка Клавочкина, женщина средних лет, угрюмая и скрытная. Она окончательно и подрезала крылышки Роговцу:

— Ждите, может, без зарплаты останетесь. Мы завтра до обеда уже сведения для банка должны дать.

Но бригадир не сдался еще. Не мог он сдать! Что ему слесари скажут? Что о нем подумают? Ладно, двое ребят-холостяков, да бездетный пока Васяка Фролов, да Степа Квочкин выкрутятся. А Михалычу какво? У него семья большая, жена часто болеет. Негоже бригаду давать в обиду!

Схватил Роговец телефонную трубку, дрожащим пальцем набрал номер главного механика.

Набрал раз — долгие гудки, второй — тоже.

— Какой номер у Жилякова? — спросил у Клавочки.

— Пять-восемнадцать...

— Правильно. Чего ж он не отвечает?

— На оперативке у директора, — спокойно ответила Клавочка и звонко щелкнула костяшкой счетов.

Что делать? Роговец стоял посреди комнаты, растерянно глядя на бухгалтера. Оставлять — не оставлять наряды? Не оставишь — вдруг и впрямь не начислят потом получку? Попробуй тогда обвини бухгалтерию!

Скажут: «Мы предупреждали». И все. И оставайся с носом. Тогда вообще хоть бросай бригадирство.

Он вытащил пачку нарядов, швырнул ее на подоконник и, злой и отчаянный, вышел из бухгалтерии. И сразу направился к проходной, хоть до окончания смены было еще более получаса, — не мог он глядеть в глаза ребятам, не в силах был спокойно объяснять ситуацию или оправдываться. Обижен был крепко, и попадись ему сейчас Гамазов, ударил бы его, не думая о последствиях.

2

Дома он всячески старался отвлечься от невеселых мыслей. То долго возился со старшей дочерью-пятиклассницей, проверяя у нее тетрадки и дневник, то жене помогал на кухне, то авторучку ремонтировал. Но в перерыве между этими занятиями его снова угнетало щемящее чувство обиды на Гамазова и чувство собственной вины перед бригадой.

С мастером у Роговца и до сегодняшнего случая были не лучшие отношения. Сегодняшний случай только обострил неприязнь к Гамазову. Мало того, что он был равнодушен к своей работе, он еще и отлучался часто — то сборы у него, то соревнования. А главный механик Жиликов ему потакает. Роговец жаловался, но тот лишь разводил руками:

— Что я могу? Звонят, просят отпустить... Мне, думаешь, это нравится?... Вот зря ты, Кузьма Павлович, не согласился тогда. Опыт у тебя есть, техникум вечерний окончил.

Роговцу действительно не раз предлагали должность мастера. Но отказывался. Довод у него был чистосердечный:

— Не по мне это — руководить. Я ремонтировать люблю, копаться в железах. Тут вроде доктора себя чувствуешь. Подойдешь к станку — не работает, раз-два подлечил — пошел опять... Да и перед Гамазовым неудобно: подумает, что подсел его.

— Зачем тогда техникум в сорок лет тужился кончать? — недоумевал Жиликов.

— Так я ж ведь бригадир, — отвечал Роговец. — Я так думаю: бригадир должен знать больше любого рабочего, мастер — больше бригадира, вы, главный механик, — больше мастера. Тогда и авторитет, тогда и уважение...

Не зная, чем еще заняться, Роговец включил телевизор. Передавали областные вечерние новости. Роговец удобно уселся в кресле, откинул голову и почувствовал, как по телу разлилась приятная легкость. Устал он за день невероятно. А ведь после обеда, считай, ничего и не делал. Случалось ему во время авралов по две смены вкалывать и то так не уставал.

Роговец слегка задремал, и ему казалось, будто он видел сон. Будто теледиктор сказал:

— Сейчас я предоставляю слово нашему спортивно-му комментатору...

Комментатор по привычке кашлянул в кулак, быстро заговорил:

— Сегодня в нашем городе закончились межобластные соревнования по стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Отличных результатов добился наш земляк Борис Гамазов.

Роговец вздрогнул, как от испуга. Глянул на экран — там действительно выступал знакомый комментатор. Значит, это не сон был...

— Борис Гамазов, — продолжал комментатор, — занял первое место, выполнив норму мастера спорта. Победитель находится у нас в студии... — Камера оператора

медленно поползла вправо и, вставив в экран Гамазова, остановилась. Роговец вглядывался в мастера, приоткрыв рот. Гамазов сидел, как школьник, положив руку на руку. Довольные глаза поблескивали, по мясистым щекам растеклась улыбка. Кивком головы он поприветствовал телезрителей, в ответ на поздравления комментатора сказал глухим голосом:

— Спасибо... Спасибо... Спасибо...

Затем комментатор брал интервью у Гамазова:

— Нашим телезрителям интересно знать, где вы работаете, Борис?

Гамазов, не спеша подбирая слова, отвечал:

— Я работаю мастером на машиностроительном заводе...

«Пользы там от меня, как от козла молока», — захотелось продолжить Роговцу.

— Занятия спортом не мешают вашему основному делу? — задавал приготовленные заранее вопросы комментатор.

— Нисколько! — категорически заявил Гамазов.

«Ну, ну, втирай очки! — не соглашался у экрана Роговец. — У тебя на работе только и мысли о стрельбе — я-то уж знаю. Когда ни придешь — одно занятие: мишени изучает. Не сдвинешь с места. Захочешь посоветоваться, один ответ: «Разве вы меньше меня в ремонтном деле разбираетесь?» Хитрая политика. Если что потом не так сделаешь, легко выкручивается: «Я указания не давал... Я надеялся...» Вот и сейчас улыбается — победитель! А у бригады заработка нет. Один я должен заботиться? Ну, Гамазов, на сей раз это тебе даром не пройдет!»

В заключение комментатор спросил:

— Ваши планы, Борис, на будущее?

Гамазов кокетливо пожал плечами:

— План один: успешно выступить на республиканских соревнованиях.

— Желаем вам успеха!

— Спасибо... Спасибо... Спасибо...

Роговец выдернул из розетки штепсель, и третье «спасибо» захлебнулось где-то внутри телевизора.

3

Утром слесари не узнавали своего бригадира. Против обыкновения он был раздражителен, чересчур серьезен и малоразговорчив.

— Без моего ведома ни за какую работу не браться, — приказал он.

«Что с Роговцом? — переглядывались ребята. — Никак с женой поругался. Или не с той ноги встал?..»

Роговец ждал Гамазова. С нынешнего дня бригада будет работать только по написанным нарядам. Так он решил, и решение это не расходилось с общим положением. Рано или поздно с прежним безобразием надо кончать. Конечно, мастеру будет больше хлопот, но зато бригада будет знать, сколько заработала вчера, сколько — сегодня.

Четверть часа уже курят слесари, не смея послушаться Роговца. Самый пожилой из них, Михалыч, полез было в тумбочку за инструментом, но бригадир, стоявший чуть в сторонке, взглядом остановил его, и Михалыч снова навесил замок.

И тут все обратили внимание на входную дверь. Ее кто-то дергал, силясь открыть, но она не поддавалась. Слесари догадались, что за дверью — чужой. Будь то Гамазов, так он знал, как ее открывать — осевшую дверь нужно было чуть приподнять за ручку. Наверняка чужой.

Наконец дверь подалась, и в ее проеме показался Дударев — однорукий мастер токарного участка. Руку ему оторвало на станке, но он не отчаялся, с завода не ушел, а поступил в вечерний техникум и окончил его вместе с Роговцом.

Дударев почти подбежал к бригадиру:

— Кузьма, выручай! Револьверный забарахлил. Пошли кого-нибудь.

Роговец, не глядя на Дударева, отрицательно покачал головой:

— Не пошлю.

— Пошто? — опешил Дударев.

— Доложи Гамазову, пусть он выпишет наряд, тогда и...

— А где Гамазов?

Бригадир развел руками:

— Не докладывал. Позвони к нему... — И уже про себя подумал: «Наверняка всей конторе сейчас хвастает вчерашней победой. Это он любит — похвастать. Может, и стрельбой ради лавров только и занимается?»

Дударев сжал единственный кулак:

— Так это ж долго, пока я его найду... Выручи, Кузьма, как друга прошу. А?

— Не могу — наряда нет.

— Да черт с ним, с нарядом! Неужели Гамазов не поверит тебе? Станок ведь простаивает. Может, там и дела-то — раз плюнуть...

— А дежурный слесарь где? — спросил Роговец.

— Дежурный? Горе у нас, а не дежурный. Пятнадцать суток отбывает... Выручи, Кузьма! Человек зароботок теряет. А там, может, дела — раз плюнуть.

— Пристал как оса, — разозлился Роговец. — «Раз плюнуть». Все равно наряд нужен. Приучил я вас всех

ко мне обращаться, минуя мастера, теперь отвыкайте. Теперь только через Гамазова.

Дударев не уходил. Он умоляюще смотрел на ремонтников, ища у них поддержки, но те прятали глаза. И впрямь, что это на бригадира нашло? Про какой-то наряд говорит. Когда это было, чтобы они по нарядам работали? Сам ведь всегда их в конце месяца выписывает...

Роговец беспрестанно курил. «С другой стороны, — размышлял он, — можно понять и Дударева. У него человек без дела гуляет. Ни себе не зарабатывает, ни заводу пользы не приносит. Жалко... Но нельзя и отступать».

И тогда он решил:

— Михалыч, сходи на токарный участок. А ты, Дударев, звони Гамазову и пожалуйся, что я не даю слесаря. Скажи — наряд требует. И звони немедленно.

Конечно, где-то в подсознании Роговец понимал, что поступает не совсем правильно. Может, самому надо было зайти к мастеру и доложить, что с сегодняшнего дня работать без нарядов бригада отказывается. Попробуй возразить Гамазов, его никто не поддержит — ни Жиликов, ни директор, ни завком. Но ведь он, Роговец, чуть ли не партизанщиной занимается. Приказал слесарям сидеть. Уже почти полчаса недоуменно поглядывают они ни на него, а толком не поймут, что задумал бригадир. И за это его не погладят по головке ни Жиликов, ни — коснись — директор, ни завком. Наоборот, это самовольничество — козырь для Гамазова. Вот, мол, бригадир какой капризный. Когда высокий заработок, так молчит. А тут один раз...

Нет, ждать больше нельзя. Он пойдет-таки к Гамазову и сообщит о своем решении. А потом — к главному механику Жиликову. Он ему выскажет все.

Роговец скомкал пустую пачку от папирос, но не

выбросил ее, а мял в руке. Обратился к слесарям как можно теплее:

— Ну, посидели — хватит. По местам. Я отлучусь на минуту.

4

Через три дня Жиляков уговаривал Роговца:

— Пойми, Кузьма Павлович, твоя кандидатура — самая подходящая. Мы уж тут с руководством всех перепробовали. Соглашайся хоть временно, пока подыщем кого-нибудь...

И бригадир наконец отступил:

— Ладно, если временно, то можно. Только объясните Гамазову, что не зарился я на эту должность.

— Не переживай, Борис и сам признавался, что ему не по нутру ремонтный цех. Согласен, значит? Ну и порядок!

— Только, повторяю, временно.

— Временно, временно, — скороговоркой подтвердил Жиляков, а сам с ухмылкой подумал: «Я, Кузьма Павлович, тоже механиком временно шел. Да так и застрял. Может, и ты так...»

Это было через три дня. А на четвертый день по заводу разнесся слухок, что главный конструктор грозился взять расчет, узнав, что подготовлен приказ о переводе в его отдел инженера Гамазова.

ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА

Вахтер Хомяков приготовился выпускать последнюю в жизни смену. С завтрашнего дня он на пенсии. Малость грустно ему покидать свою службу, но что поделаешь — годы. Правда, хотел было он повременить, а старуха — ни в какую. «Ты что, — говорит, — умней всех? Али тебе больше других нужно? Хватит, наработался!»

Хомяков стал у барьерчика, поправил фуражку, откашлялся. Посмотрел на контрольные часы — было без трех минут пять.

Первым дверь проходной отворил Васька Фролов из ремонтно-механического (Хомяков знал чуть ли не весь завод по фамилиям — как-никак двадцать лет проработал на одном месте). Васька всегда выходил раньше всех, хотя никогда никуда не торопился и никаких срочных дел у него не было. Привык просто.

Вахтер преградил дорогу Ваське протянутой рукой:
— Без трех еще! Рано.

— Не будем мелочными, дядя Хомяк, — панибратски сказал Фролов.

Хомяков и впрямь решил, что три минуты в жизни ничего не значат, к тому же у него сегодня было прощальное настроение.

— Ладно, иди.

Потом повалили молодежь, женщины.

— Предъявляйте пропуски! — стараясь быть построже, объявлял Хомяков.

Глаз у вахтера был наметанный, и он успевал у каждого проверить пропуск и заглянуть в лицо, — по выражению лица Хомяков точно определял, не выносит ли кто что-нибудь с завода. «Взгляд у Хомяка, как рентген, — шутили рабочие, — ни в кармане от него никакой желез-

ки не спрячешь, ни в сумке, ни в сапоге. При нем лучше не выносить».

Вот подошел инженер Никодимов. Хомяков помнил его зеленым ремесленником. Вечно пропуск терял, бывало. Теперь выучился, стал шишкой.

— До свиданья, дядя Хомяков! — поднял к виску руку инженер.

— До свиданья, товарищ Никодимов! — раскланялся вахтер.

В числе последних выходил малорослый парнишка Коля Жилин. Был он тихий, слесарь старательный. Умный. «Ходят слухи, — вспомнил вахтер, — что Коля книгу про завод пишет. С ним надо быть повежливей. Глядишь, и про меня где строкой обмолвится».

При этих мыслях Хомяков не заметил, что Коля показал ему вместо пропуска удостоверение члена спортивного общества «Авангард» (пропуск Жилин забыл в общежитии).

Медленно, с охотой уступая дорогу другим, приближался к проходной Фома Сергеевич Симоненко, кладовщик, тоже ветеран. «Через месяц и его проводят на отдых», — с грустью подумал Хомяков.

— Как дела, Хомяков? — подходя, спросил Фома Сергеевич и протянул вместо пропуска пачку «Севера». — Закуривай!

— Хорошо идут дела, Фома... Завтра...

Хомяков не договорил, но старый кладовщик понял, о чем хотел сказать старый вахтер.

— Ну, пока! Не тужи!

После дежурства Хомякову велено было явиться к начальнику караула. «Небось поздравить хочет с уходом», — думал вахтер.

Бережной, начальник караула, говорил по телефону, когда Хомяков вошел в кабинет. Он жестом руки указал

вахтеру на кресло. Хомяков с удовольствием сел: мягко и руки отдыхают.

Положив трубку, Бережной с минуту молча смотрел на разомлевшего в кресле Хомякова, затем внезапно сказал, как выстрелил:

— Видите?! — и указал на угол справа, где стояла связка из пяти-шести досок. — Сам отобрал! А вы, Хомяков, прозевали.

— Неужто?! — вахтер привстал с кресла.

— А что мне за резон врать?

— Как же это я, а, товарищ Бережной?

— Это мне у вас нужно спросить.

В мыслях Хомяков метался, как пойманный зверь. Он искал оправдания, но его не было.

— Виноват, товарищ Бережной... Обещаю исправиться!

— То-то! — И начальник караула многозначительно прихлопнул какую-то толстую красную папку. — Можете идти, Хомяков!

Вахтер вышел довольный, что так легко отделался. За подобные вещи мог бы верный выговор быть!

А через несколько шагов Хомяков остановился. «Постой, как же это я исправляться буду, коль завтра на пенсию? Нет, надо поставить Бережного в известность...»

И он, не раздумывая, повернул обратно.

ОТГУЛ

Степа Квочкин был в отгуле: за давний воскресный аврал, когда продольно-строгальный станок из цеха в цех перетаскивали. Отгулы обещали дать кому когда захочется, но бригадир ремонтников Роговец умно распорядился:

— Отдохнем по очереди.

Все использовали отгулы, кроме Степы. Он не мог выбрать подходящий день, пока не настояла жена.

Отгул свой Квочкин начал с того, что подольше поспал. Затем приладил вешалку в своей новой квартире, повесил люстру.

Предстояло еще сходить за картошкой на рынок, и все поручения жены были бы выполнены. Можно б тогда и «козла» забить во дворе.

Но все неожиданно пошло колесом. И виной всему — Вовка Рюмшин. Надо ж было у самого входа на рынок встретиться Степе с ним нос к носу. Знакомы они были давно — в одном ремесленном учились. После того как Вовку уволили с завода, Степа о нем ничего не слышал. Даже, на удивление, забыл о нем.

Рюмшин держался бодрячком. Долго жал руку Квочкину.

— Ну, как дела, старина?

Степа просиял:

— Во! Квартиру на днях получил! Двухкомнатную!

— Фью, Степка! Обмыть же надо!

Хотя Квочкина не очень тянуло к выпивке, но он не слыл жмотом и, если был подходящий повод, не кривляясь, составлял компанию.

— Надо, так обмоем! Айда!..

Тихо потягивая теплое красное вино возле запыленного ларька, Степа рассказывал:

— Понимаешь, семнадцать квартир на завод выделили, а я на очереди двадцатый. Вроде бы и радоваться надо, что в числе первых теперь буду. Но и радости мало, если подумать, сколько еще ждать. Хорошо, если год, а как два или три? Пришел домой, а Верунька в слезы: «Доколе тесниться будем в общежитии?» Втроем-то, я тебе скажу, оно терпимо, а вот четвертый народится... Да и удобств для женатого человека в общежитии мало, хотя у нас и отдельная комната. Я наутро — в завком. Так и так, мол, нельзя ли что-нибудь придумать? Председатель достал список, нашел мою фамилию и развел руками: «Двадцатый... Не могу...» Что делать? Хоть вешайся. Иду на прием к директору. Макар Иванович звонит председателю; нужно, мол, кадровику помочь. Долго они на полутонах толковали. В конце директор велел опять в завком зайти. Председатель на сей раз встретил меня улыбкой. «Поздравляю, товарищ Квочкин, с предстоящим новосельем, видимо, мы тебе выделим квартиру. Тут один экономист отказывается от двухкомнатной — большую хочет». И протягивает руку. Я вижу, такое дело — хлоп его по плечу, как тебя вот. Спасибо, говорю ему, чтоб ваша теща двести лет жила! Я люблю людям всякую всячину желать...

Вовка, облизывая языком верхнюю губу, слушал Квочкина без внимания. Добавить бы — он свое вино уже выпил. Заметив это, Степа спросил:

— Еще тяпнешь?

— Можно.

— Прошу повторить, — и Квочкин подал в окошко ларька Вовкин стакан вместе с помятой десяткой.

Продавщица, толстая тетя с редкой растительностью на подбородке, пристроила наконец ценник «Пирожки с выям — 60 коп.», протянула в мокрой руке наполнен-

ный стакан. Степа осторожно передал его Вовке. И снова присел сбоку ларька на корточках.

Разговор продолжался.

Про картошку Квочкин забыл. Пил он меньше Рюмина, но тоже захмелел. Вовка в конце концов куда-то исчез — Степа отвернулся прикурить, глядь, а друга как ветром сдуло. Сидеть одному не было никакой охоты, и он пошел обратно.

Помнил Степа, как уходил. А вот как попал в столовую, не объяснит. Впрочем, мудреного тут ничего нет: на пути к дому она.

У буфета он, подобно ужу, извивался перед Леной, канючил:

— Ну, полстопочки! Вот столечко... Одну тютельку...

Когда Квочкину казалось, что его мольба вот-вот дойдет до бога, буфетчица заявляла прямо и решительно:

— У тебя и так язык заплетается.

И продолжала наряжать витрину.

Смиренно-упрямый Квочкин не отставал:

— Вот послушай. Ты получала хоть раз квартиру? Нет? Так разве ж понять тебе мое состояние? Другой бы от радости неделю пил. А я... Налей, а? Вот столечко...

— Не мешай, повторяю, работать.

Квочкин досадно почесал затылок: «Вот змея несговорчивая, и кто ее только сюда поставил!» Хотел было ущипнуть Лену за бок (где-то он слышал, что незамужних женщин это умиляет), но тут же раздумал: «Еще съездит по мордуленции».

Степа прислонился к вытертой спинами стенке: Закурил. После каждой затяжки с силой выдыхал прямо в па-

толок синий треугольник дыма. Про себя размышлял: «Бойтся, змея, что моя Верунька лаяться придет: напоила, мол! Она ведь не как другие жены. Она умная. И если я на радостях выпил чуть, разве ж она обидится? Разве пойдет позориться, ругню из-за пустяка устраивать? Ни за какие деньги!»

— Лена, ну, полстопочки...

Буфетчица думала, что Квочкин ушел, и от неожиданности вздрогнула.

— Ты здесь еще! Тебе русским языком сказано: улетывай! И не кури здесь!

Степе в отместку захотелось разбить витринное стекло или трахнуть об пол стул. Но он, предвидя последствия, лишь растер каблуком окурки и, как можно отчетливее, сказал:

— Чтоб тебе, Ленка, живая рыба приснилась!

Она колюче уставилась на Квочкина, с полминуты пребывая в недоумении. А Степа, приоткрыв дверь, ожидал, какая будет реакция. Лена было схватила тарелку с мелочью, но, раздумав, поставила ее обратно. Крикнула, будто запустила камнем:

— Дуррак!

Степа, довольный таким исходом дела, тихоенько закрыл дверь с наружной стороны.

Сначала он зашагал правильно — налево, к своему дому на улице Милько. Но вдруг резко изменил направление и пошел направо, в сторону заводоуправления. Решение это было принято с ходу, как это делает всякий подвыпивший человек. В Степе неожиданно заговорила совесть: «Такой-сякой я, негодный! Мне помогли получить квартиру, а я, неблагодарный, даже спасибо не сказал. Прости, Макар Иванович, с меня причитается...»

В приемной директора, кроме секретарши с глазами,

как спелые сливы, никого не было. Квочкин смело вошел, указал на дверь:

— Шеф у ся?

Секретарша подняла на него глаза-сливы. Сдержанно ответила:

— У себя. — И добавила: — Но у него приемные дни по пятницам, а сегодня среда.

Квочкин усмехнулся:

— Я к нему по служебному... — Степа не удержал равновесие, покачнулся. Пытаясь расположить к себе секретаршу, стал заигрывать: — А вам, девушка, желаю непьющего жениха! Ну, можно зайти?

— Нет-нет, у него совещание! — Секретарша встала со стула, прикрыла собой на всякий случай подход к двери директорского кабинета.

Степа не стал насильничать, спокойно уселся на стул с удобной закругленной спинкой, сказал:

— Хорошо, я подожду.

Секретарша заняла свое место.

Позвонил телефон. Она выслушала и коротко ответила:

— У него совещание.

И положила трубку.

Тут Квочкин тихо спросил:

— Девушка, а он пьет?

Секретарша удивленно вздернула плечи, лицо вспыхнуло, будто ей сказали что-то нетактичное или оскорбительное. Даже глаза, кажется, порозовели.

— Не знаю...

— Вы все о шефе должны знать!

Затем Степа умолк, потому что неожиданно пришла к нему одна рациональная мысль: «Чем я буду без толку сидеть, лучше я в это время слетаю за бутылком в гастронорм, а к тому времени и совещание кончится. И чтоб

по ресторанам с Макаром Ивановичем не мыкаться, прикончим бутылечек у него в кабинете».

— Идея! — сказал он вслух.

Секретарша не поняла. Но расспрашивать не решилась.

Степа привстал.

— Я мигом вернусь. Хорошо?

Проснулся Степа под вечер. На диван-кровати в своей новой квартире. Открыл глаза и вздрогнул: «Где я?» Осмотрелся — успокоился. «Не помню вот только, как я домой попал. Хотя — стоп! Может, Роговец привел. Мы в гастрономе, кажется, встретились. . .»

В комнате был полумрак. Степа лежал прямо в пиджаке, прислушивался, не подавая признаков жизни. Значит, так: Верунька дома, на кухне с пацаном играет. Квочкин слышал ее голос:

— Не ходи, Юрочка, к папе, он спит. Он. . . заболел, у него вавка. . .

Квочкин усмехнулся: «А что пьяный — не выдает. Бойтся, наверное, что пацан в детсаде проговорится, какой папа домой приходит».

Он поспешно встал. Снял пиджак, повесил его на спинку стула. «Однако нагоняю Верунька все равно даст. Может, не дожидаться, когда она начнет? Может, самому пойти покаяться?»

И он решительно рассек рукой воздух: будь, мол, что будет. За признание, мол, меньше наказание.

И осторожно, еще чуть шатаясь, направился на кухню.

ПЯТЬ ДНЕЙ В ЗАПАСЕ

Ленька Рычков был худущ и, как все худые, длиннорук, с некрасивой походкой — ступал неуверенно, будто по краю обрыва. Оттого, что он был еще и слабосильным, обижали его все, кому не лень. И часто не только потому, что не боялись получить сдачи, а за Ленькин язык: любил дразниться и обзывать Рычков. А кто стерпит, если дразнит вот такой сморчок, как он? Раз ему коленом под зад! Ленька вредный: плачет, а обзывать своего обидчика не перестает, наоборот, в отместку еще больше всяких кличек придумывает. Ну, ему и еще попадает.

Лицо у Леньки рыжее, брови и чуб тоже рыжие. Кожа на руках — бледно-синяя. Рот широкий, зубы от раннего курения пожелтели.

Жил Ленька вдвоем с матерью в комнате на четвертом этаже заводского кирпичного дома. Отца у него не было. Ленька раньше часто допытывался, где его папа, мать отвечала, что он скоро приедет, и, отвлекая Леньку, тут же садилась читать ему сказку или напевать песенку. Папа так и не приехал, и, когда Ленька подрос, он понял, что отца у него никогда и не было и что мать — подслушал он однажды ее разговор с соседкой — родила его в сорок лет, когда уже совсем отчаялась выйти замуж, а страшно хотела иметь ребенка.

Сейчас Леньке шел уже семнадцатый год. Но из-за худобы незнакомые давали ему не больше тринадцати, а те, кто его знал — в основном свои жильцы, — говорили, что маленькая собачка до старости щенков. Ленька не очень понимал смысл этих слов, а потому не обижался на них. Разве что иногда в ответ показывал язык.

Во дворе Леньку никто из мальчишек не любил и не дружил с ним. И не из-за того только, что он вот такой рыжий да тощий уродился — руки-ноги, как спички, а по-

тому, что нелюбовь к Леньке им родители привили с малства. Из детсада, бывало, кто вернется чумазым, мать стыдит его: «Что ты, как Ленька Рычков, вымазался!» Кто потом, в школе уже, двойку домой приносил, ему выговаривали: «Хуже Леньки Рычкова учиться стал!» И теперь еще, когда Ленька работать на завод пошел, не оставляют его в покое, и теперь еще нет-нет, а кое-кто и припугнет свое нерадивое чадо: «Учиться не хочешь? Не учись. Как Рычков тросы будешь чалить — большего не доверят».

Если кто и пытался подружиться с Ленькой, так ненадолго — домашние отсоветовали: «Нашел, с кем вожжаться!..»

Ленька с трудом окончил всего пять классов — дальше не захотел. Мать вызывали вместе с ним в райисполком, стыдили там его на какой-то комиссии, но напрасно. «Нет и нет, — отрезал он. — Ничего у меня не получается, тошнит от учебы».

Два года Ленька болтался без дела, мать, заводская банщица, вся испереживалась за это время, боясь, как бы Ленька чего не натворил или не попал в дурную компанию, даже участкового просила присматривать за сыном. А когда Леньке исполнилось шестнадцать, она пошла в отдел кадров. «Пять классов? — удивился начальник отдела кадров. — Куда же мы его? У нас даже старые рабочие ускоренное образование получают, а ваш... К тому ж несовершеннолетний, на вредную работу не пошлешь...» Мать — в слезы. «Чего реветь, — накинулся на нее начальник, — надо было воспитывать!» — «Так воспитывала...» — «Слабо, видать. Ремнем надо было, ремнем!» — «Так жалко...» — «Жалко, теперь вот расхлебывайся за свою жалость. Ладно, приди завтра, что-нибудь придумаем».

Начальник отдела кадров был человеком хоть и

крутым, строгим, а помог. Договорился, устроил Леньку в бригаду сборщиков — учеником чальщика тросов. Знаний там особых не требуется, работа несложная, хоть и не очень денежная. Ну да Ленькина мать и за это была благодарна. Все-то при деле сын, да и заработок какой-никакой принесет — все будет легче, чем на одну зарплату ее. А то ведь кто знает, может, ни сегодня-завтра так нездоровье прижмет, что сама на пенсию запросится — возраст у нее уже давно подошел.

Учеником Ленька был недолго — всего недели полторы. И, хоть разряд ему присвоили только через положенные два месяца, все это время он уже работал самостоятельно.

Да и не совсем Ленька был тупым и глупым. Кое-чего соображал, хоть и пять классов только имел. Концы тросов он так наловчился заделывать, что бригадир Куткин даже похвалил его, сказал, что у Леньки это лучше получается, чем у его предшественника Славки Виноградова, которого теперь в слесари перевели. Ну, да Леньке пока работа нравилась, и он в слесари не рыпался, считал свой тихий уголок с маленьким верстаком и катушками тросов самым-самым удобным в цехе.

Бригадировские ребята редко заглядывали к Леньке. Это когда Виноградов тут был — тогда другое дело. Тут частенько они собирались под видом перекура про девчат поболтать, про танцы. Куткин не раз разгонял их, грозя Славке поставить в табеле неполную смену. Теперь бригадир успокоился — возле чальщика не скапливался его народ.

И вот однажды в Ленькин угол пришла... девчонка. Ленька как раз сидя трос от катушки отрубал. Слышит — над ним кто-то дышит.

— Здравствуй, Рычков!

Обернулся Ленька, привстал, в одной руке зубило дер-

жит; в другой — молоток. Перед ним стояла круглолицая девочка, пухлые губы покусывала, а глаза ее озорно бегали. Держалась она не по-девчоночьи смело. Прямо сверлит Леньку взглядом — он не выдержал и опустил голову.

— Ты что; Рычков, глухой — не здороваешься?

Ленька устыдил себя, что держится как мямля с какой-то незнакомкой, и решил доказать, что он не какой-нибудь тюха-матюха, а потому попытался сострить:

— Здорово, дочь Петрова!

Девчонка замотала головой:

— Не угадал. Я — Клава Стародубцева, комсорг цеха.

— У-у-у, шишка! — попробовал уязвить ее Ленька.

— На ровном месте... Ну да ладно, Рычков, хватит паясничать. Я к тебе знаешь зачем?

— В самодеятельность записывать.

— А вот и нет, Рычков. Ошибся и на этот раз. — Она перевела дыхание и уже серьезно, без тени озорства и тонюсеньким голосом, намного старше Леньки, спросила: — Ты почему, Рычков, учиться не хочешь?

Ленька, как услышал этот надоевший ему вопрос, так и зевнул:

— А-а-а-а...

И присел трос нужной длины отрубать, давая понять Клаве, что разговор закончен.

Клаву это укололо. Что ж такое получается? Какой-то новичок не желает разговаривать с комсоргом цеха! Да если каждый так будет!..

Клава ходила в комсоргах второй год уже и потому, что ее переизбирали на новый срок единогласно, была уверена в своем авторитете, в том, что с ней зубоскалить каждому непозволительно. Ее действительно уважали, а провинившиеся комсомольцы даже маленько побаива-

лись, когда она разойдется. Но что она Леньке? Он в комсомоле, естественно, не состоял, а Клаву до этого видел вроде бы, но не помнил где — то ли в цехе, то ли на улице. Особенно ее пухлые губы запомнились ему.

Еле сдерживая себя, Клава чеканно повторила:

— Ты почему, Рычков, учиться не хочешь?

Ленька, как мы помним, не терпел над собой власти физической, и когда ему давали подзатыльник или коленом под зад, начинал огрызаться. Теперь, почувствовав, что вот-вот будет подвластным морально, избрал то же средство защиты. Не вставая, буркнул:

— Во, привязалась...

— Выбирай, Рычков, выражения.

— Без ребят соскучилась? Так я на тебя смотреть не хочу. Не мешай работать.

— Что, что? А ну повтори, Рычков...

Цех гудел, звенел, кто-то стучал молотком по сварному баку так, что больно было ушам. Каждый занят своим делом, и никто не подозревал, что в уголке чальщика Леньки Рычкова разыгрывается сцена.

Клава подошла к Рычкову и дрожащей от волнения рукой сдернула с него кепку, надеясь, что теперь он встанет и она Леньку заставит посмотреть ей в глаза и повторить сказанное. А он тоже стал выходить из себя:

— Ты что, тварь, привязалась?

— Выбирай, Рычков, выражения. Еще раз спрашиваю: в вечернюю школу пойдешь?

— Отвали...

Тут уж Клава не могла сдерживать свои чувства. Она с силой запустила в Леньку кепкой, сжала кулаки и, нагнувшись над ним, почти в самое ухо с обидой и гневом выпалила:

— Ну и провались ты, лентяюга, береги свои мезозойские мозги, мне с тобой противно дальше разговаривать,

помрешь недоучкой, пока я в цехе, разряд тебе не повысят, ради него стараешься, а он, грубиян, еще обзывает, сам ты тварь и ни одна девка за такого шкета не пойдет замуж!

Высказалась, излила душу — и ушла.

— Давно бы так, — сказал ей вслед Ленька. — Шляются тут всякие... Допрос хотела учинить: почему не учусь? — уже тише продолжал он. — А нипочему. Не хочу, и все. Меня мать не заставила, комиссия не заставила, а эта... — Ленька подыскал словцо посолоней, — эта выдра чего захотела! Нужны мне ваши глаголы да прилагательные. Я и без них чалить научился.

В подтверждение своих последних слов Ленька, не глядя, со всей силой, играючи ударил молотком по зубилу. Но удар получился не совсем точный, зубило выскользнуло из пальцев и отлетело в сторону.

— Гадюка! — ругнулся на него Ленька и затряс в воздухе ушибленными пальцами. Это все Клавка виновата, она настроение испортила, потому и удар такой. Взял зубило и решил сам себе доказать, что то была осечка. Ударить решил еще сильнее, но против его воли молоток опустился на зубило вяло — боязнь еще раз ушибить пальцы оказалась сильнее самолюбия.

Нет, что-то не получается. Не идет работа.

Подошел Ленька к верстаку, закурил, облокотился на тиски. Не по себе ему было, хоть и оставила его Клава Стародубцева. «Агитнуть хотела? Агитнула? Дудки!» — успокаивал он себя.

Вроде бы победителем себя чувствовал Ленька. Вроде бы... Но в глубине своей не очень ученой души сознавал, что поступил не совсем правильно. Может, не стоило грубить Клаве, может, нужно было объяснить ей, почему не тянет его в вечернюю школу? Так, мол, и так, я и в дневной в свое время насмешек да критики натерпелся.

Бывало, стих не выучишь — память плохая, наверно, — учителька двойку вклеит да еще стыдить начнет, бестолковым обзывать. Все ученики смотрят на него и ухмылки в кулаки прячут: во, дескать, какие бестолковые бывают — рыжие и худущие. На перемене не преминут посмеяться над ним.

Ленькина мать с родительских собраний всегда в слезах приходила. Особенно за русский язык его здорово ругали. Безграмотный, мол, правила применять не умеет, весь класс по успеваемости назад тянет. —

Пробовала мать раза два выпороть Леньку за двойки, но, будучи человеком с характером, он в отместку начал учиться еще хуже.

Перед шестым классом Ленька заартачился. Матери, учителям одно твердил: не хочу! Как ни бились над причинами, не выяснили. Да Ленька и не смог бы их объяснить. Надоела ему школа, надоел класс — и все...

Докурена до мундштука «прибоина», Ленька вытащил из пачки другую папиросу. Обволокли его всякие мысли, перед глазами — туман, синё сделалось, предметы не различает. . . Нет, правильно он сделал, что не растаял перед комсоргом, дал ей от ворот поворот. А то и сейчас бы еще здесь стояла, учиться уговаривала. . .

Курил Ленька, размышлял. Не заметил, как и бригадир Куткин подошел к нему. Он тронул Леньку за локоть, Ленька схватил зубило, молоток — как бы бригадир не наругал его за долгий перекур — и к катушке, трос рубить.

— Постой, — сказал Куткин спокойно, — успеешь.

Ленька вернулся к верстаку.

Бригадир Ленькин невысок, плотного телосложения. Он немногословен, бригаду держит в железных руках. Ленька с первых дней побаивался Куткина — уж больно

взгляд у него тяжел. Как взглянет из-под нависших бровей — будто иглы в тебя вгоняет.

Куткин вытащил блэкнотик, поискал в нем что-то, сухо сказал:

— Через час привезут двадцать барабанов. Сегодня нужно ко всем тросы закрепить.

— Попробую, — ответил Ленька и опять взялся за зубило и молоток.

— А если не попробовать, а сделать? — покосился на Леньку бригадир.

— Ну, сделаю...

— Это другой компот! — удовлетворенно сказал Куткин. Потоптался возле верстака, делая вид, что ищет что-то, потом тронул Леньку за плечо: — Чего эта комсорг к тебе приходила?

Ленька покраснел, ответил неопределенно:

— А так, делать ей, наверно, нечего.

— Ну уж, нечего, — усмехнулся Куткин. — Крановщице, да делать нечего! Хитришь ты, Рычков.

Лицо Ленькино еще сильней вспыхнуло, будто его держали над горящими углями. Не верит бригадир. Но правду решил утаить — замолви, что Клава учиться его агитировала, так бригадир наверняка поддержит ее. Куткин и сам намекал Леньке про учебу. Но только намекал. Хуже будет, если он прикажет Леньке учиться. Ослушаться Ленька не посмеет, а в школу его и веревкой не затанешь. — не хочет, чтобы опять бестолковым обзывали. Тогда хоть из бригады беги. А куда бежать? Его в чальщики-то с трудом взяли. В грузчики разве что. Нет, в грузчики неохота.

— Так что ж ты молчишь? — допытывался Куткин.

— В самодеятельность записывала, — схитрил Ленька.

— И как?

— А никак, не записался.

— Ну-ну. Я-то уж, грешным делом, подумал, не в школу ли тебя тянула. Она у нас такая — никому покоя не дает. И сама в институт поступила. Молодец девка!

У Леньки остановилось сердце: неужто Клава все рассказала, нажаловалась Куткину, и теперь он лишь разыгрывает Леньку? Если так, тогда попался уже, заврался. Тогда сейчас вмиг посуровеет бригадир, стыдить, отчитывать начнет.

— Так через час барабаны будут, — сказал после паузы Куткин. На прощание как бы сказал. . . У Леньки снова забилося сердце: поверил его выдумке бригадир. Поверил! Хоть «ура» кричи.

Работалось Леньке теперь легко и радостно, будто груз с него сняли какой.

Вскоре в цех въехал заводской самосвал с изрядно побитым кузовом. Шофер свалил в Ленькином уголке лебедочные барабаны и, не дожидаясь, пока опустится кузов, включил скорость.

До конца смены оставалось еще два часа. Времени в обрез. «Придется задержаться, если не успею, — размышлял Ленька, — иначе Куткин завтра семь шкур спустит».

Один конец троса Ленька крепил за барабан, другой — за блок. Злился и ругал сверловщиков, когда отверстия крепежной планки не совпадали с отверстиями на барабане. Случалось, болты были с бракованной резьбой. Тогда от Леньки и контролерам попадало, которые, по его мнению, совсем распустили сверловщиков и токарей. «А я теперь расхлебывайся за них, время зря теряй. . .»

Работа, однако, подвигалась. Ленька посматривал на часы: «Успею. . . Ну, десять — пятнадцать минут, возможно, прихвачу. Так это пустяки. . .»

Иногда про Клаву вспоминал. Почему-то Леньке вдруг мерещилось, что она стоит в стороне и наблюдает, как он тросы крепит. Он испуганно осматривался и, никого не заметив, опять принимался за дело. И гнал Клаву из головы, как от навязчивой мухи от нее отмахивался. И злился: «Принесло же ее! Ну теперь уж не придет. А придет — опять пошлю куда надо... Подожди, а где все же я ее раньше видел? А-а, вспомнил, на Доске почета, кажется, возле проходной. Ну да, в верхнем ряду третья справа. Она, она — и губы такие же пухлые... Впрочем, пусть не очень гордится, не одна она на Доске — на ней и Куткин есть, и еще человек тридцать... А ну ее, Клаву! Сколько там еще барабанов?»

Шесть барабанов осталось. «Ну вот, — размышлял дальше Ленька, — а эта Клава меня лентяюгой обозвала. Да Славка Виноградов целую б смену, может, с барабанами возился. А я за два часа успею. Вот тебе и лентяюга. А в школу ходить — большого труда не надо. Ходи да ходи, да домашние задания выполняй. Только я не хочу, а захотел бы, так, думаешь, — обращался он к Клаве, — не смог бы? Вот если б только бестолковым не обзывали да стихи не заставляли учить... Я примеры решать люблю, задачи. Про поезда, которые из разных пунктов выходят, про воду в бассейне. А еще люблю про историю читать, что раньше было. Но вот все дело стихи портят да глаголы с прилагательными. Не в ладу я с ними. Из-за них в школу не пойду. Даже если Куткин прикажет. Грузчиком переведусь, а не послушаюсь».

Тут Ленькины мысли звонок прервал — смена окончилась. Утихли шум и гам в цехе, не посверкивает электро-сварка, краны не гремят. А у Леньки еще два барабана осталось. «Как я и предполагал, — похвалил себя Ленька за расчетливость, — на пятнадцать минут задержусь».

Вышел Ленька из цеха, вдохнул свежего воздуха — и приятно закружилась голова. Солнце глаза слепило, Ленька жмурился — глазам было больно.

Он закурил последнюю «прибоину» и пустую пачку выбросил в кусты акации. Глубоко затанулся, а выдыхал дым медленно — то через рот, то через нос.

Спокойно было на душе у Леньки, легко. Завтра Куткин наверняка похвалит, как увидит, что все барабаны готовы. «Смотри-ка, — скажет, — а я не предполагал, что ты, Рычков, такой прыткий». И если бригадир когда-нибудь захочет Леньке разряд повесить, грозись, Клава, не грозись, а повысит. Куткин — фигура, он в профкоме у нас, его даже начальник цеха на «вы» называет.

Небо над Ленькой чистое, светло-синее. Только два крохотных облачка плавают — заблудились, должно, вот и забрели на то чистое небо.

Шел Ленька не спеша, наслаждаясь воздухом, солнцем и небом, шел и, чтобы не убыстрять шаг, по пути прочитывал все лозунги и плакаты. Радость разлилась в его душе, и Леньке хотелось подольше насладиться ею. Такую радость от своей работы он испытывал, наверное, впервые. А еще гордость за себя чувствовал: «Сказал бригадир — сделаю, и сделал! Я слова на ветер не бросаю». Шел, грудь выпячивал: дескать, смотрите на меня, заводские люди, какой молодец шествует! Смотрите, пока иду по заводу! Я, если б были еще барабаны, и с ними успел бы справиться... Подождите, вы еще узнаете, кто такой Ленька Рычков! Про меня еще, может, в газете напечатают. Во!

У проходной Ленька остановился возле большущего фанерного щита, исписанного сверху донизу. Буквы уже порядочно смылись дождем, выгорели на солнце. «Почитаем, что и тут написано», — сказал сам себе Ленька и шепотом стал повторять слова:

— «Объявление. Сешереме № 8 объявляет прием учащихся в 5—11-е классы. Поступающие должны представить следующие документы... Запись производится с 12 до 18 часов ежедневно до 28 августа».

«А сегодня какое? Кажется, двадцать третье. Пять дней, выходит, в запасе. Впрочем, у кого в запасе? Что это я?» — спохватился Ленька.

Он стыдливо отвернулся от щита, исподлобья осмотрелся, не видел ли кто, как он читает это давнее, совершенно не нужное ему объявление. Никто не видел. А приподнял глаза и остолбенел: на него смотрела Клава, смотрел Куткин, смотрели еще тридцать человек.

Но через минуту Ленька ожил: стоит ли бояться фотографий с Доски почета? Осмелел и даже показал язык Клаве Стародубцевой: «Чего лыбишься? Еще посмотрим, кто из нас лентяюга...»

Нырнул Ленька в будку проходной, сдал пропуск, попросил у вахтера папироску. Тот не отказал — уж больно хорошо улыбался этот худой рыжий парень. На все зубы и откровенно.

ПРО ОДНО ДЕЖУРСТВО

Было три часа ночи, и дежурный райотдела милиции капитан Забродин, позевывая, привстал со стула.

— Я чуток вздремну, а ты посиди у телефона, — сказал он сержанту Алексею Ерохину.

Тот кивком дал согласие и уселся за старенький обшарпанный стол. А капитан, подложив под голову неизвестно чью фуфайку, висевшую в дежурке, улегся прямо в сапогах на скамейку и вскоре начал тихонько посапывать.

Ерохин, долистав свежий номер «Крокодила», с завистью посмотрел на спящего Забродинца. Его тоже одолевала дремота, но он крепился. «Нужно чем-то заняться, а то еще закемарю...»

Ерохин покопался в столе. Отыскав там школьную тетрадь, вырвал оттуда двойной лист. «Напишу Жеке письмо, а то я, хам, после демобилизации ни одного ему. А обещал».

Пододвинув чернильницу, Алексей, недолго размышляя, медленно принялся писать.

«Привет, Жека!

Извини за длительное молчание — некогда. Пока устроился, обжился — полгода как не бывало.

Перво-наперво о себе. Работаю по направлению райкома в милиции...»

И тут случилась закавыка. Ерохину стало неудобно перед армейским другом за свою новую службу и, решив, что не будет большого греха, если он малость соврет, вычеркнул последнее предложение. Жека ведь насмешник большой. Зудеть начнет: мол, не захотел с ним на строительство ГЭС, теперь оберегай, так сказать, покой граждан.

И он начал новую строку так:

«Работаю токарем, как и до армии. Ребята в общении подобрались толковые, дружные. Ходим часто на танцы.

В общем, Жека, не жалею, что вернулся на завод. Город у нас чистый. Зелени полно. Так что, если тебе в твоей Сибири не очень, приезжай к нам. Устроим, поможем!»

Ерохин сделал паузу, чтобы обдумать предложение, но вдруг зазвонил телефон, и он мигом схватил трубку, чтобы звонок не разбудил Забродина.

— Райотдел милиции слушает!

— А кто — «райотдел»?

— Дежурный... То есть за дежурного...

Тот, кто говорил на другом конце провода, был разгорячен и резок.

— Да фамилия у тебя есть, «за дежурного»?

— Ерохин! Сержант Ерохин слушает!

— Это Пыжов, участковый с соцгородка. Ты что, Ерохин, назваться боишься, кто ты, что ты? Негоже так! — И, понизив голос, спросил: — Пришлите срочно машину, я тут одного фрукта задержал...

— Добре, пришем. — Алексей положил трубку.

Вскочил Забродин.

— Пыжов машину просит.

— Это мы сейчас... И ты, Ерохин, заодно поезжай, может, помощь какая нужна.

Вернулся Алексей минут через сорок. Когда зашел в дежурку, то первое, что бросилось ему в глаза, было неоконченное письмо, лежавшее на столе у Забродина

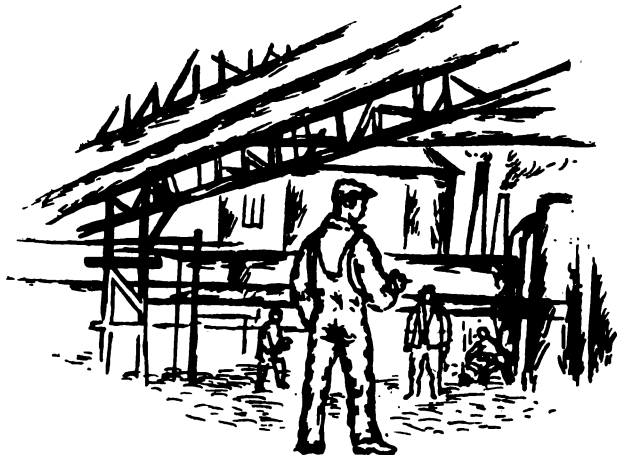
рядом с «Крокодилом». Ерохин схватил его и, как нашкодивший школьник, сник и покраснел.

— Читали?

— Просмотрел... Особенно «Нарочно не придумаешь» здорово у них получается. — И Забродин отложил журнал в сторону.

А Ерохин стоял словно вкопанный и чувствовал, как холодный пот выступал на его лбу.

РАССКАЗЫ КУЗНЕЦА ШАНИНА



АВТОБИОГРАФИЯ

Мне оставалось одну автобиографию написать — и дело с концом. За границу я еду, туристом. Уговорили в завкоме: «Льготная путевка, чего теряешься? Хоть мир посмотришь, все равно ведь отпуск дома просидишь». Я-то хотел возразить, что мир я, слава богу, в свое время посмотрел — в войну и Польшу прошел, и Германию, и Австрию, — а потом махнул рукой: «Лады! Не знаю только, Варвара отпустит ли?»

Жену я, значит, уговорил. Правда, дулась долго — как это я, мол, на стороне один буду, не дозволю ли чего лишнего.

Дали мне в завкоме два листика (один — на всякий случай), на них уже по-печатному «Автобиография» было написано. Мне, значит, оставалось только продолжать. Ну, да это уже не велика беда.

Взял у сына ручку-самописку, уселся за стол, Варвару отстранил, чтоб не мешала думать. И повел:

«Я, Шанин Г. Г., родился в 1923 году в д. Хорошаевка Пеньковского р-на К-ой области. В семье крестьянина. Отец умер в 1933 году, мать — в 1940 г. Участвовал в Великой Отечественной войне. Награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями. После войны и по настоящее время работаю кузнецом на машзаводе».

Писал я с натугой, язык высунул — это привычка у меня такая. Писал, на месте сидел, а вспотел, как возле печи.

Перечитал — все правильно, ошибок, на мой взгляд, нет. Вот только маловато — и трети листика не заполнил. С такой куцей биографией, думаю, ни в какую границу, конечно, не пустят. Еще перечитал — все вроде бы учел. Все, так сказать, вехи жизни. А — мало. Врать же или там подсочинять, чувствовал, в таких автобиографиях не полагается.

Вышел из своей комнаты сын Колька, глядит на меня, улыбается, а я пот вытираю.

— Корпишь? — спрашивает не без ехидства.

— Помог бы лучше, чем паясничать.

— Чем могу быть полезен? — не отказывается Колька.

— Подлиннее, — говорю, — надо бы.

Колька взял листик, пробежал глазами, ухмыльнулся.

— Учить вас надо, — говорит (вот хам!). — Возьми все цифры напиши прописью, и никаких там «д», «р-на», «обл» не надо, а полностью. Себя, отца-мать по имени-отчеству назови. Вот и вытянется твоя автобиография.

Учить вас надо! — И небрежно кинул мне листик. А я ничего плохого за такую выходку и сказать ему не могу: сам на помощь напросился.

Колька на улицу стал собираться, а я второй бланк взял (молодцы в завкоме, что дали про запас). Совет Колькин, должно, верный. Дай-ка, думаю, изобразю свою автобиографию чуть иначе:

«Я, Шанин Григорий Григорьевич, родился в одна тысяча девятьсот двадцать третьем году в деревне Хорошаевка Пеньковского района К-ой области в семье крестьянина».

«Ого, — думаю, — на сколько сразу длиннее получилось! Молодец, Колька». И строчу дальше:

«Отец, Шанин Григорий Иванович, умер в одна тысяча девятьсот тридцать третьем году, мать, Шанина Евдокия Яковлевна, — в одна тысяча девятьсот сороковом году. Участвовал в Великой Отечественной войне, награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями. После войны и по настоящее время работаю кузнецом на машзаводе».

Все то же самое, а смотри — как вытянул! Уже не стыдно будет с такой автобиографией. Хоть, признаться, хитрость моя не бог весть какая, кому надо, сразу меня раскусит. Не мешало б еще чего-нибудь добавить. А чего? Как в начальной школе был? До войны в колхозе работал — так что в этом мудреного, все в колхозе работали. Про то, что воевал, — есть. А завод — и про завод есть. Не станешь же про различные общественные нагрузки писать. Это — мелочь.

Да, дела, прямо скажем. Не пустят меня за границу. Туда должны ехать бывалые, заслуженные. Им есть о себе что рассказать. А меня спросят: кто я? А я — никто. Простой кузнец с маленькой автобиографией.

Нет, зря связался с этой заграницей! На льготную цену клюнул. Лучше за полную стоимость — а дома, в своем Союзе. Откажусь, к чертям собачьим! Правильно Колька говорит: «Учить вас надо».

КАК Я ДРУГА ПОТЕРЯЛ

С Павлухой Долгих до недавнего времени мы, считай, почти что друзьями были. Мылом в бане делились, в получку очередь я ему, он мне занимали, иногда даже в гости друг к другу ходили. Павлуха лет на десять млаже меня, а ничего, разговаривать с ним было об чем: про дела всякие цеховые, про политику и прочее. Нас в кузне иначе как друзьями никто не звал.

И вот дала эта дружба, как говорится, трещину. Я-то и не предполагал, что оно так получится.

Подхожу я к Павлухе и по привычке вежливо говорю:
— Здорово, Павлух!

А он хмуро повернул ко мне голову и недружелюбно так пробурчал:

— Здоров, здоров, изобретатель...

— Ты чего это меня так? — интересуюсь.

— А сам знаешь, — отвечает сквозь зубы Павлуха и не без злобы, — изобретатель несчастный.

«Наверно, — думаю, — опять с тещей поругался — он всегда не в духе после этого. А кто его заставлял тещу из деревни выписывать? Никто. Сам. Боялся, не вынычат с жинкой двух пацанов. Теперь и расхлебывай, злись...»

Работаем, я на своем молоте, Павлуха — на своем. Друг на друга не смотрим. «Ничего, первым подойдешь курево просить — у тебя вечно папирос не хватает до конца смены», — говорю сам себе.

А перед обедом зовут меня к телефону в начальников

кабинет. Не вовремя, надо сказать, — как раз заготовки в печи подошли.

Зашел я без стеснения к начальнику цеха Юдину, не обращаю на него внимания, беру трубку и говорю туда, как и положено:

— Шанин слушает.

На том конце провода кто-то закашлялся, вроде бы я его здорово перепугал своим голосом.

— Але, Шанин? Здравствуйте, товарищ Шанин! Это Семенов из БРИЗа. Знаете такого?

— Отчего ж не знать? — говорю Семенову, а сам маленько растерялся: зачем это я понадобился ему? Может, что со мной согласовать хочет — они, бризовцы, часто это делают? Так пусть в цех придет, а не по телефону. Невелика шишка, этот инженер Семенов, мог бы и не отрываться от работы — там как раз заготовки подошли.

Я еще подождал, пока Семенов откашляется (бросал бы уж курить, что ли), а потом он говорит мне:

— Сегодня вознаграждение выдают, имейте в виду. В пять часов — к кассе.

Я опупел и ничего не пойму.

— Что-о?

— Воз-наг-раж-де-ни-е. Вам — за десятую позицию. За проушины.

«Бог ты мой, — заработали мои мысли, — я-то тут при чем? Неужели наш цеховой технолог оформил это как рацпредложение? Я ж ему просто идею высказал, что дешевле проушины сваривать из двух пластин, чем ковать, а потом делать фрезеровку, строжку... Так вот, выходит, чего меня Павлуха Долгих изобретателем обозвал — заказа лишился. Это его был заказ, неплохой, надо сказать, колымный...»

— Дела... — сказал я и положил трубку. Да так, что Юдина испугал — он какую-то бумагу как раз писал.

...Вот таким макаром и потерял я друга — до сих пор дуетъся на меня Павлуха. В гости не ходит, в очереди в получку каждый сам по себе теперь стоит. И мыла в бане Павлуха не просит — у него чаще, чем у меня, не бывает. Просто под горячей водой в такие разы поплещется — и так уходит с жирными руками.

ХОЛОДИЛЬНИК

В нашем цеху я если не первый, то и не последний. Без хвастовства. Вон сколько раз на Доску почета меня вешали, грамот заслужил — не счесть. Да и не мудрено: я, пожалуй, дольше всех в кузне, сразу после демобилизации в сорок пятом — сюда.

Да... Вот и опять перед Новым годом, значит, вызывает меня начальник цеха. Юдин его фамилия. Вызывает и без обиняков говорит мне (а чего юлить, знаем друг друга давно — он у меня до техникума подручным был).

— По итогам соревнования, — говорит, — завком премирует многих: кого деньгами, кого подарками. И тебя в том числе. Я сказал, чтоб тебе холодильник дали. — ты мне как-то жаловался, что никак холодильник не достанешь. Не против? Может, я поторопился?

Выложил это Юдин и ждет моей реакции. Хитровато щурится, зуб золотой в улыбке выставил. Знает же, что я не против, — можно б и не спрашивать.

— Еще не поздно переиначить, звонок — и все.

— Спасибо, — растроганно говорю я. — Лучшего подарка и желать не надо. Жена меня на руках за него носить будет. Только, — говорю, — это правда?

— Юдин шутить не любит, — горделиво отвечает на-

чальник. При мне он позволяет себе такие штучки: покрасоваться собой, показать силу свою и прочее.

Назавтра — собрание. И правда, зачитывают мою фамилию, я премирован холодильником. Юдин, сидевший рядом, толкнул меня локтем в бок:

— Видал? А ты не верил!

Я-то верил, но не совсем: не говори «гоп», пока не прыгнешь. У нас вон, помню, одному сказали, что ему квартиру выделили. Он мигом в магазин, угощает всех встречающих, сам наугощался, а наутро узнает: не ему выделили, а однофамильцу. Так-то прежде времени радоваться.

Да... На следующий день после собрания я во вторую смену был. До работы маненько на радостях позволил себе.

Шагаю, значит, в цех, а тут Юдин навстречу. Я подтянулся, стараюсь идти как по струнке. Свернуть бы, да некуда.

А начальник на меня идет. Останавливает. Я вежливо так здороваюсь, дышать стараюсь в сторону. А он и говорит:

— Ты что это отворачиваешься?

— Зуб, — отвечаю, — болит.

— Так вот, я тебя с таким зубом не допускаю к работе.

Я глаза вылупил, стараюсь дело к шутке свести:

— С кем не бывает?

А начальник налился кровью, побагровел, челюсть сжал — всегда так, когда сердится. Допрашивает:

— С кем пил?

— Да ни с кем. Кружку пива всего. — А про то молчу, что мы еще с соседом пол-литра водки брали.

Юдин грознее прежнего смотрит:

— Иди домой, завтра разберемся.

Я стою, молчу. А он берет меня за плечи и поворачивает обратно.

— Завтра разберемся...

Не было для меня в жизни наказаний страшнее, чем это: отстранение от работы. Пришел домой, рухнул на кровать и заплакал от обиды, как мальчишка. Варвара бегаёт вокруг, спрашивает, а я только всхлипываю.

Но не пойму я и Юдина с тех пор. Как это можно: сегодня холодильником награждать, а завтра — вот так, за кружку пива?.. А мне казалось, насквозь его знаю — подручным у меня был.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Иду я, значит, как-то на завод, смотрю, на столбе возле проходной объявление кто-то вывесил. Четвертинка листка из тетради. Почерк корявый, хуже моего:

«Продаёца дом 6×9 по адресу: ул. Лесная, дом 18. Имею сарай, кирпичная уборная, душ, участок 6 сот., 9 плодоносных яблонь. Обращаю после 5 час. к Железникову Виктору Митричу».

Я остановился, читаю, другие тоже читают. Тут же говорят всякое такое:

— Приспичило мужику... Жена, наверно, проворовалась.

— А может, к детям переезжает.

— Эх, купил бы, да очередь на квартиру близко!

— Интересно, сколько он за уборную попросит?

— А отдельно душ он не продаст? Как раз моих грошей хватит.

Я, значит, тоже не вытерпел. Только не вслух, а про себя подумал: «Ну и хмырь, за яблонки небось тоже брать будет. Я сам частник, случись дом продавать, раз-

ве б стал за яблоньки деньгу просить? Да мы этих яблонек возле кузни целый сад за так посадили!»

Приподнялся я на цыпочки и содрал объявление. Какое-то оно не такое.

ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ

Лектор недавно в обед у нас лекцию читал. Как сейчас помню фамилию — Красиков. Из общества. Так он сказал, что на свете три с половиной миллиарда человек. А может, говорит, больше, эти данные, говорит, приближительные.

Я сначала не поверил, после лекции вопрос задал: не ослышался ли? Не ослышались, отвечает, так и есть.

Бог ты мой! Сколько ж этой прорве нужно питания, одежды! А помещаются где? Мы вон как-то с моим подручным Димкой Черновым две тысячи-скоб отковали, так они на четырех машинах еле поместились. А тут — три с половиной миллиарда. Да и человек — не скоба, в сто раз больше места занимает.

Никак из головы эта цифра не выходит. Домой прихожу, у Варвары, жены, значит, спрашиваю:

— Сколько, думаешь, на свете людей?

Она на кухне как раз возилась, некогда ей, видно, было, потому и ответила:

— А черт его знает.

— Ну примерно?

— Сиксилион.

— Во, ляпнула!

— А сколько ж? — заинтересовало ее, видно.

— Три с половиной миллиарда.

— Ого! Где они только живут?

— Как где? В домах, — голосом лектора Красикова отвечаю я. — Земля-то, она большая.

— Так-то оно так. А потом: всех одеть нужно.

— Зачем всех? В жарких странах можно в одних трусиках проходить.

Варвара моя бросила стряпню, присела на табуретку. Вздохнула:

— Три миллиарда... Сколько ж они за день хлеба лопают?

Мне и самому это интересно, но я не хочу перед женой незнайкой выглядеть.

— А высчитай, — говорю. — Граммов по пятьсот на каждого.

— Ого! Когда-нибудь, — продолжает, — есть будет нечего, помрут все.

— Ну уж, — возражаю. — Не будешь лениться, с голоду не умрешь. Труд, он, говорят, человека создал. А значит, и погибнуть не даст.

— Ну и философ ты у меня, — качает головой Варвара. — И чего ты в философы не пошел, а в кузнецы — никак не пойму? Мой-ка лучше, философ, руки да консерву помощи открыть. ...Надо ж — три с половиной миллиарда!

СЫН МОЙ, КОЛЬКА

Сын у меня есть, Колька. Восемнадцать годков весной стукнуло. Да...

В кого уродился Колька — не знаю. Я всю жизнь работаю, мать тоже с малства не белоручкой была. А этот — с ленцой. Девять классов закончил, а в десятый не пошел. Надоело, говорит. Учителя приходили, звали, я сто раз беседовал, припугивал всяко, мать плакала — напрасно. Потом, правда, сдался. «Ладно, — говорит, — упростили. Только я в вечернюю школу пойду». Он, неслух,

вроде бы одолжение сделал. Вечерняя его, конечно, устраивала: и спросу меньше, и контроль не тот. Ну, да бог с ним, думал я, лишь бы занят был, а может, и в вечерней из него человека сделают.

Учится, значит, учится и в одно время радиом заинтересовался. На всякие детали деньги просит, собирать-разбирать приемник стал, дружков новых завел. Я деньги давал, но дружков недолюбливал: больно скрытные какие-то они все. То о чем-то шепчутся с Колькой, то закроются в его комнате и мастерят да паяют что-то. Один раз заглянул в щелку и слышу, как мой Колька в телефонную трубку негромко диктует: «Внимание, говорит «Султан»! Я «Султан»! Кто меня слышит, прошу поддержать связь. Я «Султан»!»

Меня как варом облили! Смекнул я: Колька мой — радиохулиган. Про них вон в газетах уж сколько фельетонов было, милиция, слыхал, на них охотится. Штрафуют, конфисковывают...

Вечером с женой Варварой совет держим: что делать? Пропадет парень, не с той компанией связался. Самому ему намекнули, так он, громила — ростом выше меня, метр восемьдесят вымахал, — и слушать не стал, махнул: «А ну вас». И ушел в свою школу. А может, и не в школу, может, на танцы куда.

Что делать? Пойду завтра, говорю жене, в военкомат, чтоб, говорю, как восемнадцать годов Кольке стукнет, забрали его в армию. Чтоб никаких отсрочек. Иначе пропадет. Он ведь, может, эту телефонную трубку с автомата отрезал. А за это, узнают, по головке не погладят.

Военком выслушал меня, записал что надо. Хорошо, сказал, удовлетворим вашу просьбу. С первой же командой. Нам как раз радисты нужны.

Прихожу домой радостный, так и так, говорю Варва-

ре, все в порядке. А она, дура, в слезы. Жалко ей. А в тюрьму сын попадет — не жалко? Насилу втолковал ей, что не враги мы Кольке, ради его будущего тревожимся.

Весной забрали Кольку — сдержал военком свое слово. На проводах дружки Колькины, радиохулиганы то есть, были. Вечером, после стола, последний раз они «посултанили» и Колька отдал им все свои железки. А утром проводили мы его.

Теперь на границе служит. Трудно, пишет, бывает, но терпимо. Мать после каждого письма плачет. «Зачем, — говорит, — мы его загнали туда?» А я успокаиваю ее: «Не мели, Варвара, что зря! В армии любая служба трудная. Зато Колька человеком станет. Вон, пишет, уже комсоргом подразделения избрали». — «Так-то так, — соглашается Варвара, — да все равно жалко...»

Всякий раз одно и то же: «Все равно жалко...» Ох уж эти женщины! Век живи — век их учи.

ПРОЗВИЩЕ

На заводе меня Артистом дразнят. За глаза, правда. Иной раз — под злую руку — и в глаза. Уж года полтора, как эта кличка прилипла. Поначалу думал — забудут скоро, ан нет.

А случилось вот как. Есть у нас в кузне свой поэт — Олег Герасимов. Дежурный слесарь. Так этот самый Олег, будь он неладен, стих однажды про меня сочинил. И напечатал его в многотиражке. Под названием «Артист». Вроде бы я, значит, хоть и простой кузнец, рядовой, так сказать, товарищ, но в деле своем настоящий артист. Оно, может, так и есть, но не в этом дело.

Прочитали на заводе стих — и пошло-поехало: Артист

да Артист. Я злюсь, постепенно в лицо перестали обзывать, а за спиной все равно Артистом дразнят.

Герасимова того теперь и близко к молоту не подпускаю. Конечно, размышляю про себя, он не хотел мне худого, а все равно ему простить не могу. Это с его ведь руки я был Шаниным, а стал Артистом.

А он, чистоплюй, еще и измывается: вы, говорит, спасибо должны мне сказать, что восславил вас, поллитра вроде бы должен поставить... Ах, хам, бородастая морда! А еще в Москве учится! Погоди ты у меня!

На последнем собрании Герасимова в цехком выдвинули. Я вычеркнул его, Димку Чернова вписал. Хоть и прошел Герасимов, а все равно одного голоса не досчитался. Я ему покажу Артиста!..

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ

Как сейчас помню, двадцать первого декабря это было. С Димкой Черновым, напарником моим, подзадержались мы после второй смены. Все ушли, мы вдвоем в цехе остались: работа была срочная.

В два часа ночи кончили мы, помылись в цеховой бане, покурили и тронулись, как говорится, «нах хаус». А снег на улице метет — глазам больно. Морозище. Трамваи, понятное дело, уже не ходили. Димке — рядом, в общежитие, а мне — в поселок, километров шесть.

Простились мы, и я пошел прямо по асфальту. И бокom шел, и задом, и всяко — задувало со всех сторон. Особенно нос докучал — я его еще на фронте отморозил. С той поры теплостойкий он у меня. Чуть замечтался — сразу белеет.

Две машины обгоняли. Голосовал — не останавлились.

Сколько шел — не помню. Замерз зверски. Весь в снегу ввалился домой, рук-ног не чувствую. Сразу — к зеркалу. Нос проверяю. Цел, идол. Красный только, побаливает. Это оттого, что беспрестанно тер его.

Разделся — и на кухню. Включил плитку, борщ подогревать поставил. Жена спит, не слышит, как я ступаю.

Борщ мой греется, и я руки над плиткой грею. Чуть спирали не касаюсь — пальцы, как грабли торчат, тепла не слышат.

Потихоньку прихожу в себя. Только вот в сон клонит. Ну, да это к лучшему, думаю. Сейчас мисочку горячего борща упорю — и на покой. Под ватное одеяло, к жене под бок.

Борщ закипать уже начал, и я его выключил. Беру миску и наливаю. И вдруг застываю над кастрюлей: а ведь Димка печь не выключил! Он-то после бани, когда курили, собирался идти выключить ее, да так и забыл.

Но это ничего, цех не взорвется, а вот заготовки в печи остались — поплаваются.

Поставил миску на стол, ложку отложил — не идет еда. Что делать? Хотя б жена, думаю, не проснулась, а то начнет допытываться, чего не ем.

Ну и дела, говорю сам себе, как сажа бела.

А, черт с ними, с заготовками! Десятку там выдерут из зарплаты...

И принялся за борщ. Ем, губы обжигаю. По всем внутренностям враз тепло разлилось — благодать.

А печь в кузне горит...

Что делать? Оно-то десятки не жалко, только как мастеру потом в глаза глядеть? Прохвост, этот Чернов, растапа! Я ему завтра устрою легкую жизнь. Сколько раз зарок себе давал: на подручных надейся, а сам не плошай! Опять сплошал, однако!

Заскрипела, слышу, кровать, Варвара что-то во сне говорит, меня рядом, должно, ищет. Хоть бы не проснулась!

А я решил идти. В цех. Нету никакого выхода. Заклюют, запозорят, если печь не выключить, хоть из кузни тогда беги.

Оделся потеплей: валенки, полушубок, шарф женкин, двое рукавиц. Трое штанов еще. Потихоньку запер дверь — и в ад. Метель по-прежнему не унималась. Дорогу замело — по памяти шел.

За углом, у магазина, закурить решил — на ветру не прикуришь. Но и за углом ветер вихри крутил, куролесил. Я — в телефонную будку. Там спокойно. Прикурил, решил передохнуть. Курю, смотрю на телефонную трубку, и тут ко мне приходит хорошая мысль: а не позвонить ли Димке? Что ему стоит слетать в цех? К тому ж он и виноват, вот и пусть расхлебывается за свое ротозейство.

Вытащил из кармана полгорсти мелочи, папиросой осветил, нашел двушку. Вот догадался, хвалю сам себя, а то б пришлось топать в такую жуть.

Номер общежития я знал — не раз звонил Димке, когда он на работу просыпал. Бросил я, значит, двушку в дырочку, трубку снял, гудок услышал, палец приготовил. И тут — верьте не верьте — пожалел Димку. Разжалобился: сам не сплю и человеку ведь не дам. Вот Кольку б моего, сына, так среди ночи подымать кто стал — хорошо это? Может, в армии его сейчас и подымают, на то она и армия. А тут — мирная жизнь. Тут негоже лишний раз человека беспокоить, будь он хоть растяпой вроде Димки Чернова.

Вывалился я из будки и пошагал. Как сейчас помню, было это двадцать первого декабря.

В ПОДШЕФНОМ КОЛХОЗЕ

Раз так, еще про Димку Чернова расскажу.

Кузня наша в подшефный колхоз ехала — по картошке. Тридцать три человека я насчитал. Как раз все уместились во львовском автобусе.

Молодых всех на задние места согнали — пусть их трясет. Димка ж сразу в угол забился. Нелюдимый какой-то он у меня. Красивый, статный, ему б девок за нос водить, а он нелюдимый.

Тронулись. Я в окно глазеть стал. Особенно за городом красиво было. Как раз середина сентября стояла, «бабьим летом» почему-то эту пору в народе зовут. А какое тут лето, когда осень вовсю властвовала? Трава вон поухла, листья порыжела, чуть ветер дунет — облетает. Опята вон пошли — то и дело грибников обгоняли.

Ехали как-то скучновато. Правда, несколько раз начальник цеха Юдин пытался запеть, растормошить народ, а не тут-то было. Женщины из-за уважения сперва подтягивали ему, а дальше слов не знали.

Мужики — а нас больше было, — как я сказал уже, в пении не участвовали. Переговаривались меж собой, кое-что замышляли. А что может замышлять наш брат горожанин, когда в свой законный выходной от домашних забот вырвался? К тому ж каждый имел денежку на, так сказать, дорожные расходы.

Колхоз находился километров за тридцать. Около часа ехали. Остановились у правления. Юдин велел никому не расходиться, а сам побежал к колхозному начальству — узнать, где убирать. Да... Не успели мы, значит, по папиросе выкурить, как появился Юдин.

— Заходи! — скомандовал он нам. — В третью бригаду, возле лесопосадки. — Это уже к шоферу относилось.

Димка не выходил из автобуса. Нахохлился, в окно уставился.

— Не заболел, случаем? — интересуюсь потихоньку. Он помотал головой: нет, значит.

Автобус дернул и покатил по деревне. Хуже телеги с боку на бок качался — рытвины кругом да колдобины.

Потом мне Димка рассказывал, как получилось.

Все встали, значит, по два человека на рядок. Я, кстати, с Юдиным. А Димке пары не досталось. Он на крайнем рядке, конечно, сразу и отстал.

Невдалеке, на нашем же поле, урчал «Беларусь» с копалкой. Димка сначала его не заметил — увлекся работой. Вообще-то он парень старательный, не лентяй, не ровня сыну моему, Кольке. Ну, да того, может, армия образумит. Неизвестно ведь, каким Димка до армии был...

Собирает, значит, Димка картошку в ведро да в мешки сыпает. А тут «Беларусь» подъезжает.

— Закурить есть? — кричит ему из кабины тракторист, примерно одногодок Димкин.

Димка распрямился, а не расслышал. Тракторист приставил к губам указательный и средний пальцы, какими обычно папиросу держат. Чернов понял его, кивнул: есть, мол, слезай.

Тракторист ловко спрыгнул, подошел к Димке. Тот «Шипку» вытащил.

— А папирос нету? — спрашивает тракторист, а сам и сигарете рад.

— Нету, — сухо отвечает Димка.

— С машзавода к нам? — не уходил тракторист и все новую зеленую беретку — женскую, должно, —

поправлял. А остальное все на нем — страшно замасленное.

— Оттуда. А что?

— Да так. Ты чем там?

— Подручным. — Димке показался этот ответ не очень. Потому не без гордецы добавил: — До армии, как ты вот, на тракторе был.

— Вон чо! Да ты покури, все одно не угонишься. — И тракторист присел на корточки, а Димке показал на ведро с картошкой.

Сидят, значит, курят, трактор попыхивает.

— Небось уже позабыл, как ездят? — говорит тракторист.

— Да чего там!.. — не соглашался Димка. — Что там забывать?

— Это ты думаешь так. Я вон месяц болел, а вышел — отвык, чую. «Беларусь» мой как обиделся — не слушается... А ты хочешь попробовать?

Димка от такого предложения оробел. А ну, как вправду не сможет поехать? Да еще с этой копалкой на прицепе.

Однако и соблазн был велик. Вспомнил он себя, доармейского, лихого тракториста, хоть и характером тихого. И зачесались у Димки ладони. Эх, будь что будет!

— Хочу!

Мы, значит, картошку убираем и не заметили, как Димка исчез. Когда только обедать готовились, я туда-сюда — нету моего Чернова.

— Не видели? — спрашиваю Юдина.

— Не спрашивался, — отвечает начальник. — Да и рядок его не убран. Сбежал никак.

— Не может быть, — ручаюсь за Димку. — Может, он по надобности отлучился.

Обедаем — нет Димки. Тут уж все догадки строить стали. А он, язви его в душу, на тракторе копает. И есть не идет, — нравится ему, значит, копать. Увлёкся, вспомнил, как бывало. Ну, дак это после мы узнали, что на тракторе, а пока опять всякое такое говорили:

— А родни у него в деревне нету?

— Может, уснул где? Он в автобусе носом клевал.

— Ну и кадра у Шанина!..

— А вдруг случилось с ним что?

— Придет, ничего с ним не станется. Точно, где-нибудь в кустах кемарит.

Я слушаю, а наветам не верю. Нет, нет, Димка не позволит отлынивать, могу собственной головой поручиться. Я его за год до косточки узнал. Тут что-то не так...

И все волнуюсь, волнуюсь. Уже перед концом работы Юдин говорит мне:

— Вон видишь, человек из деревни идет? Спроси, может, он видел Димку где? Обрисуй, какой он — тут не своего враз приметят.

Я подчиняюсь, иду на сближение. Подхожу — парень, на вид тракторист, вымазанный весь, на голове беретка зеленая.

— Извини, — говорю, — молодой человек, не встречал вот такого-то? Как ты годами, только в плечах пошире.

— Димку, что ль?

— Его! — обрадовался я. — А ты откуда его знаешь?

— Так он на тракторе вон! На моем. Он домой меня отпустил, говорит, иди, а я душу отведу. Соскучился, говорит, по трактору.

Вот это да, думаю. Вот это отчебучил Димка! Да его ж Юдин в порошок сотрет! Что, скажет, за тебя должны мы

спину гнуть? Для тебя дисциплины не существует? И не защитишь тут его.

Трактор как раз навстречу ехал, я еще не видел за стеклом Димку, а уже кулаком грожу. А губы сами собой так и сяк Димку обзывают.

Остановился трактор, вывалился Димка, как мешок, рот щерит.

— Ты что? — говорю. Злой, ремня бы дал, если бы он мне свой был.

— Я ж ведь не сидел — копал я, — оправдывается Димка. Да и еще улыбается. Кому нужна его работа? Грядка-то неубранной осталась, положенное цех не убрал! А он: «Я не сидел...»

— Пошли, — говорю, — перед Юдиным отчитаешься.

Идем, с автобуса сигналият — нас зовут, чтоб поторапливались. Димка, вижу, понял свою вину, захмурил, носом то и дело шморгает. Лицо все в мазуте, к правому ботинку солидол прилип...

Уж как его Юдин костерил! И вдоль, и поперек. И так, и эдак. Стоит Димка, руки ниже колен опустил, ни слова в оправдание. Все уже сели в автобус, а он его костерит. Я тут же стою, помалкиваю. Уж мне Димку жалко стало: начальник цехкомом его припугивал, выговором. А потом резко оборвал свою речь:

— Все! Марш в автобус... Тракторист несчастный! Димка поднял голову и промычал:

— Останусь...

— Что? — не понял Юдин — он уже в дверях был.

— Останусь свой рядок убирать.

— Не валяй дурака, — говорит малость тише Юдин. — Давай садись и не задерживай людей.

Я тоже Димке шепчу:

— Садись, не выдумывай...

— Останусь, — уперся Димка, — а вы поезжайте.

Взял ведро и потопал от автобуса.

Начальник — мне:

— Шанин, верни!

Догоняю, схватил за рукав Димку:

— Куда ты? Вечер уж, как добираться тридцать километров будешь?

А он посмотрел так спокойно на меня и покивал троекратно: мол, плохо вы меня знаете, доберусь, мол, не беспокойтесь и нечего уговаривать. Я, мол, свое все равно должен сделать — отстаньте.

— Ну и черт с тобой, — в сердцах говорю я. — Топай пешком, раз настырный такой. — А самому жалко.

Я — к автобусу, он — к рядку своему. Юдин видел все это, крикнул:

— Поехали, не маленький — найдет дорогу.

...Димка к утру в общежитие явился. Километров пять только подъехал, а то все на одиннадцатом номере.

ПЕСЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

Ну, и последний рассказ. Не совсем, может, занимательный, а умолчать его не могу.

Третьего дня, значит, узнаю я вот какую историю. Мой подручный Димка Чернов, из которого я больше года кузнеца делал, ходил к начальнику цеха перевод просить. Штамповщиком захотел стать — кузнецом разонравилось.

Известие это меня молнией прожгло. Ах ты, думаю, тварь неблагодарная, ты что ж позоришь кузнечное племя! И не только думаю, а вскоре и говорю ему это. Димка — защищаться:

— Брехня! Не мог я сказать: «Разонравилось...»

— Но перевод просил?

— Просил.

— Почему?

Стоит, идол, мнется. Работа тоже стоит. Не беда — догоним. Хочется все-таки выяснить, чего его нелегкая дернула перевод просить.

— Может, я не нравлюсь?

Молчит.

— Нравитесь, — мямлит потом. — Сманули меня, не-перспективное, говорят, у тебя дело.

Я заставил повторить Димку — думал, ослышался. Нет, все так и есть: не-перс-пек-тив-но-е. Ух, хотелось мне тут болванку схватить да в Чернова ею... Но враз охладил себя. Знаете, как это при закалке бывает? Деталь в воду — шух! — и холодная. И я так. Нет, думаю, тут этот пулемет не пройдет — кипятиться, тут иначе надо. И вежливенько так говорю Димке:

— Пройдем-ка...

Вышли из цеха, в яблоневый скверик, присели на скамеечку. Закурить ему предлагаю — не берет. Свои папиросы вытащил.

Сидим, курим, не соображу, с чего начать. Потом я между прочим спрашиваю:

— Сколько, ты думаешь, люди уже на земле живут?

— Не знаю, — отвечает. — Может, тыщ сто. А что?

— А то. Вот, значит, сто тыщ лет и существует наше кузнечное ремесло. Я вон, когда сын Колька учился, читал как-то у него в истории про железный век. А раз еще тогда железо было, кто его ковал? Штамповщик? Дудки! И не скоро еще, запомни, отойдет кузнечное дело. Пока железо существует!

Димка вторую папиросу вытащил. Возражает:

— Но ведь сами видите, сколько у нас заказов отбирают — то штампуют их теперь, то отливают.

— Верно, — говорю, — случается такое. А сколько еще в то же время деталей выгодней ковать? Потом: иногда металлу особое свойство только мы можем придать. Что — возразил?

Отошло у меня немножко от души, потеплело. Чтоб не рассердить Димку, не настроить против себя, перехожу на мягкий тон. По-отцовски так прошу у него:

— Дай-ка твоих закурить, а то мои отсырели.

Димка с радостью угощает. Вижу: поддается парень — не дурак ведь он, совестливый, работающий, а вот против соблазна не устоял. Без особого еще свойства.

Да... Тогда я неожиданно и спрашиваю:

— Пластинки слушать любишь?

Он мнет плечами:

— Откуда в общежитии пластинки? Магнитофон в красном уголке есть.

— Ну, а я пластинки люблю. Особенно народные. А еще особенней — вот эту. — И сам не заметил, как запел:

Во ку-,
Во ку-у-знице,
Во кузнице молодые кузнецы.

Про нас, — говорю, — песня-то. А то вот еще:

Справа — кудри токаря, слева — кузнеца.

Вишь, не кого-то посадили рядом с девкой, а кузнеца. А про штамповщика хоть одна песня есть? То-то! А вот эту я еще в детстве пел:

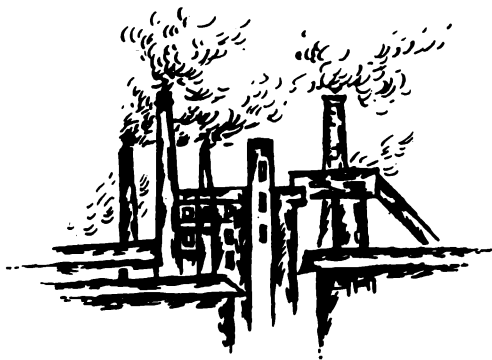
Мы — кузнецы,
И дух наш молод,
Куем мы счастья ключи...

Это, говорят, главная кузнечная песня. Революционная.

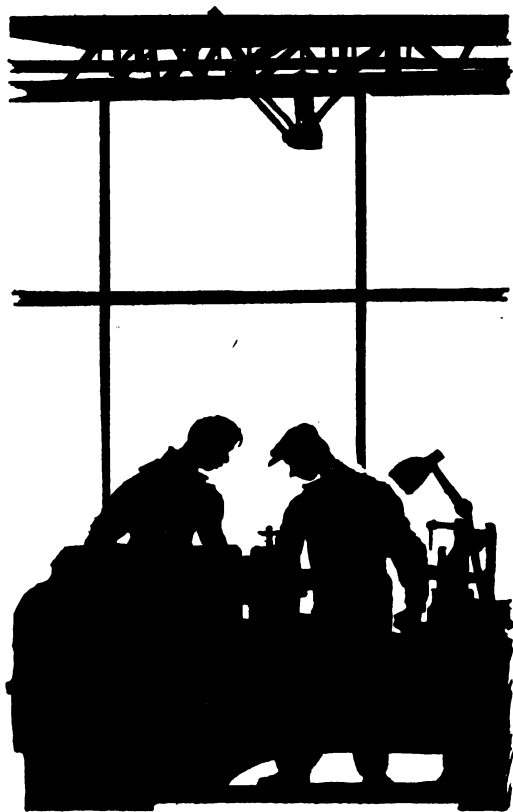
Не знаю, что мой Димка думал, когда я ему песни пел, но только до конца смены молчал и больше к начальнику не ходил.

Забыл я в тот раз Димке еще сказать про одну штуку — про государственный герб. Чей на нем молот? Наш, кузнечный! Выходит, нам, кузнецам, на гербе страны доверили представлять рабочий класс. Шутка ли!..

Но уж это я не упущу при случае.



ПОВЕСТИ





НА СВОИ ХЛЕБА



ПРИЕЗД

Был закат, и огромное красное солнце, подобно мячу в воде, плавало над горизонтом. На миг оно пряталось за густой посадкой или высокой насыпью, но затем снова подпрыгивало.

Мы с Колей Жилиным улеглись на верхних полках. Молча смотрели в вагонное окно...

Вот уж солнце совсем утонуло. Но раскрашенный край неба еще пламенел.

Было грустновато. Ехали-то мы теперь не на каникулы. Уезжали насовсем. И кто знает, встретимся ли еще с ребятами-соучениками? Как горох раскатилась вся наша слесарная группа по разным городам России.

Пришли в голову слова нашего мастера Филиппа Петровича Любушкина, сказанные на выпускном вечере:

— Ребята, покинув стены ремесленного училища, живите честно! Пусть голодно, но честно! Холодно, но честно! Во!

Высокопарно, а, должно быть, верно. Впрочем поживем — увидим.

Уже законную даль заволокли сумерки. Через вентилятор в потолке врывался в вагон тугой холодный ветер.

Бр-р! Мурашки по телу. Боязно. Не по себе.

Коля тихонько стал дремать. Медленно смыкаются его веки, но, прогоняя сон, время от времени он вздрагивает и делает головой такие движения, будто отпугивает комара.

Уже посапывают наши нижние соседи по купе — старушка и дядька. Этот дядька страшно удивился, когда узнал, что у нас документы на руках, но мы все равно едем в незнакомый город:

— Вот дадут! Да плюньте вы, корешки, на направление, ехайте, куда душа желает.

А как это плюнуть — ни Жилин, ни я не знали. Точнее — не могли. Хотелось начать жизнь чисто.

...Утром мы были на месте. В большом шумном городе, в большом заводском общежитии.

Микешин давал нам первый урок жизни:

— Значит, так. Идите сейчас в магазин, берите по пачке сахару и буханке хлеба. Это чтоб деньги целей были. Их-то у вас — кот наплакал. И те подъемные.

Отмотав от черной катушки длинную нитку и ловко перекусив ее, Микешин вставил ее в иглу и завязал на конце узел (он штопал носки). Затем продолжал:

— На завтрак, значит, чай с хлебом, на ужин — тоже. В обед можно в столовую... Все так начинают. Банку я вам выделю — вместо стакана.

Мы слушали и, как усердные ученики, впитывали азы житейской науки. А что, совет верный. Деньги надо экономить, тем более что мы их еще не умеем тратить. А Михешин год уже на заводе. Кой-какой опыт имеет.

И мы отправляемся в магазин. Прощайте, казенные харчи! Начинаем есть свой хлеб! Уж теперь никто не упрекнет, как это не раз было в училище: «Вас государство кормит, а вы!...»

Вечером мы с Жилиным приготовили спецовки — завтра на работу. Нагладили их. Повесили на стульях возле кроватей, будто праздничные костюмы.

Завтра, двадцать шестого июля пятьдесят ...ого года, — первый раз на работу!

Мы, наверное, самые счастливые люди сейчас в общешитии. На душе и тревожно и радостно.

Первый раз на работу!

Подобное чувство мной владело дважды: когда шел в первый класс и когда принимали в комсомол. Нет, сейчас, в семнадцать лет, оно даже осознанней.

На работу!

Боялся проспать, проснулся, когда только-только пробивался сквозь темень рассвет. В комнате уже были различимы все предметы. Захотелось, не знаю почему, посмотреть на спящего Жилина. Приподнялся осторожно, чтоб не заскрипела кровать.

Но Коля лежал с открытыми глазами.

— Сны всякие лезут, — пожаловался он.

Так-то я и поверил! Тоже, друг, волнуешься.

От общежития до завода — не более трехсот метров. Через сквер по аллейке из молодых колючих акаций. Кустарник порос так густо, что за ним ничего не видно.

У проходной — небольшая очередь. Человек шесть-семь. Пристроился в хвост. Вахтер пропускает не спеша, то и дело кивком головы отвечая на приветствия. У него рыжие прокуренные усы, маленькое морщинистое лицо. Но ростом его бог не обидел, и ему удобно заглядывать в пропуска.

Вахтер долго смотрел на фотографию в моем пропуске, попробовал, хорошо ли она приклеена.

— Новенький, значит... Ну, проходи, все в порядке, — и вернул теплую коричневую книжечку. Мне хотелось еще позаглядывать в нее — документ-то какой необычный! — но, боясь обратить на себя внимание, сунул пропуск в задний карман брюк. При этом старался выглядеть непринужденно, даже равнодушно.

А вот — слева — и ремонтно-механический цех. Нам с Жилиным туда.

БРИГАДА

У самых ворот цеха повстречался наш бригадир (мы познакомились с ним два дня назад, когда обходные листы приходили подписывать). Узнал нас сразу, каждому руку пожал.

— Мы вас ждем не дождемся. Я думал, что вчера выйдете, — сказал он. — Бригада совсем рассыпалась: двое в армию, третий в институт поступил...

Я стал оправдываться:

— Вчера еще оформлялись...

— Да я не в упрек, мороки при поступлении действительно много...

Прошли в дальний угол цеха.

Возле ровного ряда тумбочек, удобно приютившихся

вдоль стены, стояла длинная, выкрашенная в зеленый цвет скамейка. На ней сидели трое и курили. Бригадир подвел нас к ним.

— Здравствуйте, — сказал я, а вслед за мной — и Коля Жилин.

Двое кивнули, третий, сидевший посредине, — с круглым краснощеким лицом — притворно пропел:

— Привет, привет, племя молодое, незнакомое! Это те самые, Павлович? — обратился он уже к бригадиру.

— Те самые... Вот, ребята, и вся наша бригада. Знакомьтесь: это — Сергей Михалыч Смольников...

— Просто дед Михалыч! Чести много по имени-отчеству...

Бригадир не обратил внимания на реплику краснощекого и показал на него.

— Это — Васька Фролов, баламут, каких свет не видел, но захочет работать — гору своротит.

Фролов прыснул в ладони.

Бригадир кивнул на третьего:

— Это — Степа Квочкин, живет с женой и сыном в вашем общежитии. Временно, конечно. Квартиру скоро обещают. Тоже, как и вы, ремесленное кончал.

Бригадир походил сейчас на экскурсовода в музее, особенно когда про Степу подробно рассказывал. Тот покраснел, бедняга, и мне его даже жалко стало.

Но вот бригадир переменял легкий непринужденный тон на строгий:

— Порядки, значит, у нас таковы. На работу являться каждый день — я знаю вашего брата: кое-кто не прочь училище вспомнить, где можно было пофилонить. Дальше. Не лениться: с вас теперь особый спрос, не ученики теперь — рабочие... Есть на этот счет вопросы?

У нас вопросов не было.

— Тогда получайте инструмент — и за дело.

«ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ!..»

Бригадира нашего зовут Кузьма Павлович Роговец. Высокий, стройный, красивый. Немногословен и строг. Нас, новичков, я вижу, старается в обиду не давать. Как он вчера отчитал Ваську Фролова, к которому меня поставили напарником!

— Совести, — говорит, — Васька, у тебя нет. Парнишка один пыхтит, а ты с крановщицами лясы точишь.

Васька вскипел:

— Откуда ты взял? Спроси у него!

У меня, значит. Расчет прост: я, конечно, не стану выдать его. И впрямь баламут!

А как было? Послали нас в заготовительный цех делать профилактический осмотр кранов, Васька мне и говорит:

— Ты давай наверх, а я следом.

Я лазаю на верхотуре, где и жарко, и пыли полно, а Фролов крановщиц развлекает. Один кран осмотрел, на второй перебрался. Фролов только изредка поглядывает на меня: трудишься, мол, ну и молодец.

Уже под конец работы залез ко мне, вымазал руки для вида.

Когда спустились, я сразу к выходу направился, а Васька — цап меня за рукав.

— Остынь! Куда, е-мое, спешишь? Отдохни...

Я послушно, как и подобает новичку, возвратился и принялся слоняться по цеху, а Васька — опять к крановщицам...

Что было, то было. Но как Роговец об этом узнал?

Фролов еще раз покосился на меня: не я ли нажаловался? Не я. Наверняка из заготовителей кто-нибудь.

— Смотри у меня, Васька! — пригрозил бригадир. —

Парнишка — не подручный твой. На равных надо. У вас, кстати, и разряды одинаковые.

— И-и-и! — издал Васька Фролов удивленный звук. — Это что, и получать одинаково будем?

— Наверно.

— Где ж, е-мое, справедливость? — Васька осмелел, стараясь перейти в наступление. — Я пять лет уже здесь, а он, — Фролов кивнул в мою сторону, — только заявился — и одинаково. Где справедливость? Можно ж было по меньшему разряду принять?

— Нельзя, Васька, — ответил спокойно Роговец. — После ремесленного нельзя.

Фролов недовольно хмыкнул, а бригадир подмигнул мне: что, мол, приуныл, не слушай ты этого баламута, держись.

Я-то держался, но все равно на душе остался неприятный осадок, вроде мне личные Васькины деньги отдали.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ГЕРОИ

Друг мой Коля Жилин собирается писать книгу. Пока об этом он никому не рассказывает — боится, что насмеяться начнут.

— Я уже и название придумал, — разоткровенничался он сегодня перед сном: — «Моя жизнь». Ничего, да? Опишу детство, детдом, ремеслуху, завод наш... Материала скопилось на целую повесть. Случаев всяких там, приключений...

Жилин лежит на кровати, подложив под голову руки. Ему не спится, мечтается. Он смотрит в потолок и явно видит героев будущего повествования. Он улыбается им.

— Небось и про общежитие напишешь?

— Обязательно! И про нашу комнату: я вас всех изучил — и Микешина, и Якова Мокеевича, и тебя...

Ишь ты! «Изучил...» Вроде человек — учебник какой! Странно это: живешь и не ведаешь, что тебя изучают.

— Про Микешина начну так, — продолжает Коля. — Жил, мол, со мной такой парень: щупловат, волосы длинные, прилизанные. На год старше меня, а мне шел восемнадцатый. Странность имел: никогда не выбрасывал вещь, хоть она триста лет не пригодится. У него накопилось с десяток поломанных авторучек, в тумбочке бережно хранились пустые пузырьки из-под чернил, шурупы и использованные бритвенные лезвия, две таблетки пирамидона, квадратная пуговица от женского пальто...

Что интересного было у Микешина — так это гармошка. Трехрядная. Он ее выспорил. Играть умел несколько вещей: «Барыню», «Светит месяц», «Варяга». Новые мелодии давались ему с трудом, и он решил создать свою на известные слова:

У попа была собака,
Он ее любил...

Я усмехаюсь:

— Ладно это у тебя подмечено!

— Слушай дальше, — разошелся Коля. Ему, видно, не терпелось излить душу. — Слушай, что про Якова Мокеевича в книге скажу.

— Давай, давай...

— Перед каждым праздником двадцатишестилетнему Якову Мокеевичу, которого все почему-то звали по имени-отчеству, как одному из лучших литейщиков, вручали грамоту или похвальный лист. Говорил, что у них в цехе премию холостякам не дают: им, дескать, деньги не нужны. Может, и преувеличивал, но доля правды в этом была: премии он не получал ни разу.

«А ты женись, Яков Мокеевич», — советовала ему дежурная тетя Наташа.

«Что я вам плохого сделал?» — с ухмылкой спрашивал он ее, и тетя Наташа с горечью покачивала головой: пропащий, мол, парень.

Жилин нашарил папиросы на тумбочке, закурил. Ему наверняка самому нравилось, как он рассказывал.

— Ты, Коль, псевдонимы нам придумай или вымышленные имена какие. А то неудобно как-то...

— Это уж дело автора. Вам фамилии менять не буду. Вы у меня положительные. Отрицательным фамилии придумаю — так принято.

— Ну смотри. Но желательно, чтобы и нам под вымышленными...

— И не уговаривай! У меня все как в жизни.

В коридоре послышались шаги. Мы притихли.

— Микешин с Яковом Мокеевичем с ночной. Спим, Колька!

— Спим!

И, поправив под подушкой автобиографическую трилогию Горького (чтоб повыше было), Коля отвернулся к стенке.

ШАБРОВКА

— Отчего у тебя руки трясутся, как у вора? — спрашивает меня Роговец.

Чувствую, что вспыхивают щеки, и я, пряча лицо, нагибаюсь, будто потуже завязываю шнурки на ботинках. Мне стыдно, но я как можно безразличнее отвечаю бригадиру:

— Ничего подобного, это вам показалось.

Роговец больше не расспрашивает: наверное, я убедил его. Хотя чувствую, что не убедил. В подтверждение

своих слов налегаю на шабер так, что из-под него серая чугунная пыль задымилась.

Шабровка — самая нелюбимая моя работа. Нудная, однообразная. Вот уже неделю я, Роговец и дед Михалыч сидим верхом на станине ДИПа-500. Дело идет медленно. Роговцу, видно, оно тоже осточертело, раз он каждые полчаса проверяет щупом зазор между контрольной линейкой и станией.

При шабровке нужна силенка. Вернее, нужно экономное расходование ее. Это я понимаю, наблюдая за дедом Михалычем. Он работает не спеша, стружку берет тонкую, дольше отдыхает. Я же пашу глубоко, чаще меняю шаберы, тороплюсь, одержимый одной мыслью: скорей бы покончить с проклятой станией! В результате — ослаб. Чувствую, как устали руки, все тело устало. Сейчас бы поесть и отдохнуть...

Но ни то, ни другое не осуществимо. До конца работы — еще полсмены, а насчет поесть — дело посложнее. Как говорит Яков Мокеевич, доллары кончились. Вчера с Колей Жилиным на последнюю пятерку поужинали.

Можно попросить займы у того же Микешина, у него деньги есть — под матрасом спрятаны. Но неудобно. Решили с Жилиным сутки продержаться, а завтра — аванс. Завтра уж за два дня наедемся. Наверстаем, так сказать...

И вот меня подвели ослабевшие руки...

Роговец трогает меня за плечо:

— Остынь немного.

Я оборачиваюсь. Рассеянно жду, что он скажет.

— Пойдешь на обед, — говорит он, — купи мне «Беломору». — И вытаскивает из кармана свернутую в несколько раз двадцатипятирублевку. — Заодно поешь...

И делает мне знак, чтобы я не перечил.

ПОДОЗРЕНИЕ

Около восьми часов вечера к воспитателю общежития Лосеву заскочил Митя Гаврилов, техник из соседней тридцать седьмой комнаты. Бледный, нижняя губа трясется.

— Что случилось? — испугался воспитатель.

— Часы у меня... это... в тумбочке...

Лосев не понял.

— Украла часы... Лежали в тумбочке...

Воспитатель тяжело вздохнул: не было печали.

— Подозрение есть?

— Есть, — смело ответил Гаврилов. — Эти, новенькие, Жилин и дружок его... Недавние ремесленники — известно... Да и ключ от их комнаты к нашей подходит.

Лосев задумался. Хоть раньше воспитатель ничего не замечал за мной и Колей дурного, но... Чужая душа — потемки.

— Они сейчас дома?

— В школе, — ответил Гаврилов. — Это и к лучшему — поискать у них можно.

Лосев спокойно сказал Гаврилову:

— Только не паникуй. Идем.

Мы с Колей Жилиным постигали в вечерней школе азы наук, а над нами, оказывается, навис дамоклов меч. Наши матрасы прощупывались самым тщательным образом, воспитатель внимательно изучал содержимое тумбочек, Гаврилов перебрал в шифоньере мои и Колины вещи.

Микешин и Яков Мокеевич не участвовали в обыске — отказались.

— Нехорошо тайком шмон устраивать, — сказал Микешин.

Лосев вздохнул:

— Согласен. Но — подозрение... Не найдем, так еще и лучше.

Никаких часов у нас, конечно, не нашли, хотя, как рассказывал Микешин, искали их воспитатель с Гавриловым долго. А что искать, если ничего ни у кого мы не брали? В том, что Жилин, товарищ мой, чист, я был уверен. Честнейший человек! Даже в училище, когда все мы совершали набеги на колхозные сады, Коля с нами не ходил, вежливо отказываясь: «Нездоровится мне». Помню, мы с ним нашли в кинотеатре кошелек с деньгами. Рублей двести было. Никто не видел, но Коля настоял, и мы отнесли находку директору кинотеатра.

Я воровал дважды: первый раз на рынке у мужика табак — «старички» третьего года обучения заставили, второй — шнурки у старосты группы (у меня их тоже украл). На большее ни смелости, ни желания не было.

И вот подозрение... Долго не спалось в эту ночь, тревожно было на душе. «Хоть и не нашел Лосев ничего, — размышлял я, — а все равно отношение к нам будет теперь настороженное. Так бывает всегда: легко очернить — хоть и ошибочно — человека, а смыть пятно труднее».

Подозрение... Когда я был еще мальчишкой, соседка тетка Дуня заподозрила, что я вишни у нее оборвал. На всю жизнь это запомнилось и сейчас снова предстало перед глазами...

ВИШНИ

Тогда я еще в деревне жил. У нашей соседки тетки Дуни оборвали вишни. Вернувшись из района, куда она ездила, тетка Дуня заметила это.

Я был в нескольких метрах от нее и видел налитые гневом круглые неподвижные глаза. Стоя под вишняком,

макушки которого еще были красны, словно шапки огромных грибов-мухоморов, она потрясала кулаками:

— Искарיותы! Из своего сада ничего не оставят! Все порешат...

Мне стало обидно, и я громко — чтоб слышала тетка Дуня — сказал:

— Только у вас и воруют... Вечно плачете! Ни у кого не воруют, только у вас...

— Ты!.. Ты!.. это, безотцовщина, воруешь! Вон и следы твои... Вот я тебе!.. — И она двинулась ко мне, выставив вперед костлявые пальцы, готовые с ожесточением впитаться в мои нечесанные волосы.

«Пусть только тронет!» Я храбрился, ждал нападения.

Тетка Дуня была уже в десяти шагах. Горячо дыша, она наступала зло и решительно.

— Вот я тебе! Вот я тебе...

«Может, дать стрекача? — пронеслось у меня в голове. — Нет, не побегу, а то и впрямь подумает, что я оборвал вишни».

Пока я раздумывал, тетка Дуня, словно смерч, налетела на меня, свалила и прижала к земле. Она зажала голову ногами, и на мой зад посыпались жгучие шлепки. Я сначала не плакал, пытаюсь вырваться. Это мне не удалось, и я решил дерзнуть — укусить тетку Дуню. С трудом повернув голову, я впился... в кирзовое голенище ее сапога.

Вот тогда-то, почувствовав свое бессилие и от боли, я дико завопил.

А тетка Дуня, отупев от ярости, войдя в раж, била и била меня обеими руками попеременно. Когда она отбила себе ладони, то схватила лежащую неподалеку лозину и полоснула ею по моей спине. Я ойкнул и зашелся.

И это ойканье вдруг будто пробудило тетку Дуню, вернуло ее к здравому мышлению: Она освободила мою

голову, распрямилась и, глядя на желтый ком солнца, перекрестилась:

— За что это я его так?

Она подняла меня на руки и понесла к своим вишням. Я не вырывался, еще не понимая, что делает тетка Дуня.

— Прости... Ешь... сколько хочешь... этих вишней... Не жалко их... Прости...

Она бережно положила меня на траву и опять перекрестилась на жестокое небо сорок седьмого года.

ЕЩЕ ПРО ЧАСЫ

Неотступно, как тень, преследовало меня подозрение и утром следующего дня. Иногда я забывался, но не проходило десяти — пятнадцати минут, как неприятное чувство, будто тупая пила, причиняло боль сердцу.

— Да хватит тебе переживать, — сказал мне Жилин, заметив мое состояние. — Выяснили ж, что мы не виновны.

Ходил расстроенный в этот день и воспитатель Лосев — всю ночь строил догадки и предположения. Доконал его телефонный звонок начальника конструкторского бюро, где работал потерпевший Митя Гаврилов. Говорил начальник с явной издевочкой:

— Что это у вас, товарищ Лосев, за порядочки? Может, собаку-ищейку в общежитии держать?

— Вы имеете в виду часы?

— Угадали, товарищ Лосев.

— Митя нажаловался?

— Почему нажаловался? Или вы считаете воровство в порядке вещей? Впервые встречаю такого воспитателя.

В голосе начальника было столько желчи, что Лосеву

казалось, будто она, желчь, передается по проводам. Лосев был сдержан и не ответил резкостью.

— Меры принимаются, можете успокоить Гаврилова. Хотя подозревать вроде бы и некого.

— Спасибо за информацию, товарищ Лосев! Ха-ха! Ужели вы думаете, что Гаврилов врать будет? А мы, выходит, ошибаемся, принимая его за добропорядочного, честного работника?.. Вы о ремесленниках хоть сообщали в милицию?

— Ни о ком я не сообщал.

— Покрыть, значит, хотите?

Говорил Лосев по телефону три минуты, а настроение у него испортилось на целый день. Вот язва, начальник конструкторского отдела! Чего лезет? Неужели без него не разберутся?

«А что, если отдать ему свои, пока искать будем? — мелькнула мысль у воспитателя. — Иначе Митя на всю округу развонит».

«Нет, свои нельзя, — размышлял дальше Лосев. — А то подумает, что я и впрямь воровство покрываю. Уж если и возвращать, то похожие. Но у него «Маяк», а у меня — «Победа»...»

В обеденный перерыв он зашел в нашу комнату. Не надеялся никого застать — мы обычно прямо из столовой опять на завод идем, в каждом цехе красные уголки имеются — есть чем заняться. Но на этот раз Яков Мокеевич дома был — Мопассана читал.

— У тебя какие часы? — поздоровавшись, спросил Лосев.

Яков Мокеевич хитро прищурился.

— Простые. А что?

— Какой марки, спрашиваю?

— «Маяк». А что? Уж не меня ли ты в краже Митькиных часов уличаешь?

Лосев рассмеялся.

— На воре шапка горит!.. Давай махнем на «Победу», чтобы избежать нежелательных последствий. Разницу в цене доплачиваю.

Яков Мокеевич не понимал воспитателя.

— Ты серьезно?

— Серьезно. Нужно, Яков Мокеевич. Для одного дела.

Яков Мокеевич прервал чтение на самом интересном месте и не чаял отделаться от воспитателя.

— Уважу, так и быть. Только они на две минуты отстают. А твой?

— На одну.

— Идет! Разницу в цене на том свете отдашь.

Вечером, сняв с часов Якова Мокеевича ремешок, Лосев вручил их Мите Гаврилову.

— Нашлись, без ремешка, жаль.

Митя расцвел при этом.

— Вот к месту! А то мне на свидание идти, боюсь — опоздаю.

Схватил часы Гаврилов, спрятал их тут же в карман и даже не спросил, кто вор.

А на третий день все стало на свои места. Оказалось, что Гаврилов по рассеянности сдал часы в камеру хранения вместе с костюмом. Кротким ягненком стоял он перед Лосевым, невинно ухмыляясь.

— Простите... Возьмите свои часы, зря я ребят подозревал.

— Ты не у меня, у них проси прощения, — насупил Лосев. — Им каково было эти дни из-за твоего растяпства?

— Ладно, я с ними договорюсь, — юлил Гаврилов. — Кстати, как понимать ваш трюк с находкой часов?

— Ты грамотный, сам поймешь, если подумаешь.

— Ну, ну... Хитры вы, однако...

Вот и все. Так закончилась эта история. Только все равно не по себе становится, когда вспоминаю о ней.

ПОХОРОНЫ

Умер старый литейщик Петр Михайлович Милько. Гордость нашего завода, Герой Социалистического Труда. Только месяц, как на пенсию вышел, и умер.

Роговец, идя за гробом, рассуждал:

— Человек без любимой работы — что костер без свежих дров. Враз сгаснет...

На могиле после директора и председателя завкома от имени учеников Милько слово дали Якову Мокеевичу. Высокий, не очень складный, он никак не мог твердо встать на скользком глинистом холмике. Примостившись наконец, Яков Мокеевич долго глядел поверх голов, несколько раз откашлялся, но все-таки заговорил хрипло, хотя всегда говорил звонко:

— Товарищи, сегодня мы провожаем в последний путь нашего ветерана...

И тут ударила волна мокрого ноябрьского ветра, бумажка, по которой читал Яков Мокеевич, выскользнула у него из рук и, словно выстреленная, взметнулась метров на десять. Все растерялись, Яков Мокеевич — тоже. Он, правда, сказал еще десяток общих слов, но его никто не расслышал. Закрыв шапкой глаза, он нырнул в скорбную толпу. Сердце его жгла обида: о таком человеке не мог несколько теплых слов сказать! И нужно ж было с бумажкой связаться! Он мог бы и без нее, но боялся, что разволнуется.

С поминок он пришел выпившим. Сел, не раздеваясь, на кровать, подпер голову руками, молчал.

— Ложись, чего маешься? — посоветовал я ему.

Яков Мокеевич отрицательно покачал головой. И целый вечер время от времени повторял:

— Казенная душа моя...

Никто из нас ничем не мог ему помочь.

БАРАБАН

Из литейного цеха прибежал мастер формовочного участка. Сразу к Роговцу:

— Выручай! Срочный заказ, а тельфер не работает — трос лопнул.

Роговец, видать привыкший слышать известия и пострашней, равнодушно успокоил мастера:

— А я уж подумал — литейный горит. Трос — это не беда. Бери вон новичка, — Роговец кивнул в мою сторону, — покажи ему, где тот тельфер.

Замена троса и впрямь дело плевое. Нужно новый трос отрубить точно по длине старого, закрепить один конец болтом и планкой, второй — специальным клином.

Так я и делал.

Все шло как по маслу. Я уже предвкушал удовольствие от похвалы Роговца. Вот я вхожу в свой ремонтно-механический и меня встречает изумленный бригадир: «Уже закончил? Молоток!»

Все, повторяю, шло как по маслу. Пока я не взялся за клин. Впрочем, ничего страшного не было даже и тогда, когда клин сел на свое место. А вот когда для верности я сделал последний удар, тут во мне сердце и оборвалось. Клин от этого несильного удара как в мыло подался, а слева от него, будто молния, ощерилась кривая трещинка.

Капут барабану...

Я опешил и стоял, не опуская молотка. А потом замелькали мысли: отлить барабан — сутки, обработать —

вторые, на третьи только можно поставить. А у формовщиков — срочный заказ. Что скажет их мастер? Что скажет Роговец?

Эх, зачем я только ударял для верности?!

Но что делать? Идти признаваться Роговцу? Страшно. Стыдно. Да и не умею я каяться.

После работы, в комнате, Яков Мокеевич спросил:

— Кто это из ваших слесарей сегодня отличился? Не Васька Фролов?

Я побледнел.

— А что?

— Пришел к нам в цех трос на тельфере менять, ну и... поменял — барабан разбил. Мало того, никому ничего не сказал, бросил инструмент и сбежал.

Мне казалось, что Яков Мокеевич знает, что это был я. Он только прикидывается...

— Хорошо, в запасе был барабан, а то б покукарекали наши формовщики... Да ты что скис? Уж не заболел ли?

Ночью мне не спалось. Ворочался с боку на бок. Строил планы, как быть дальше.

Пока что твердо решил одно: завтра на работу не пойду. Как я покажусь бригадиру? Подвел ведь. Струсил. Уж легче было б признаться...

На работу, значит, не пойду. Это — раз.

А два? Два: поживем — увидим. Скорее всего рассчитаюсь. Попрошу уволить без отработки. Причину какую-нибудь придумаю.

За полночь ко мне подкрался Коля Жилин. Положил мне руку на грудь.

— Ты чего маешься? Все ведь нормально. Запасной барабан поставили.

— Я не маюсь.

— Рассказывай! Я ведь тоже не сплю, слышу, как ворочаешься. А переживать-то и нечего. Роговец не здорово ругался.

— Ладно, не успокаивай. Ты вот что: скажи завтра Роговцу — заболел.

Я отстранил его руку.

...Уж легче было б признаться!

ТРУДНЫЙ ДЕНЬ

Уж легче было б признаться — повинную голову меч не сечет. Легче б...

Коле Жилину я напомнил перед уходом:

— Скажи — заболел. А там видно будет.

— Зря ты усложняешь эту историю.

— Как знать, — уклончиво возразил я.

Он ушел, не став больше уговаривать, понимая, что на душе у меня кошки скребли.

А я лежал, думал. Незаметно задремал.

Разбудил меня женский голос:

— А ты чего не на работе?

Я обернулся на голос. Посреди комнаты стояла дежурная тетя Наташа.

— Не пугайся. Нездоровится, что ль?

— Нет, отгул у меня, — соврал я.

— А-а, ну тогда отдыхай, извини, что потревожила.

Отдыхать я, однако, не собирался. Не ровен час, комендант или воспитатель Лосев заглянут, опять начнутся расспросы. Уж лучше уйти с глаз долой.

Но куда? Разве убить время на вокзале? Идея! Посмотрю заодно расписание поездов — это в случае увольнения пригодится. Чтоб безвозвратно уехать. В Москву ли, в Баку или во Владивосток — безразлично.

В общежитие я вернулся под вечер, часов в семь. Устал, ноги налились свинцом — чуть ли не весь город исколесил. После вокзала ходил просто так по улицам, не спеша рассматривая витрины магазинов, хотя не имел ни малейшего желания что-нибудь купить.

Якова Мокеевича с Микешиным в комнате не было — видно, ушли в столовую. Коля Жилин старательно что-то писал за столом.

Я, не говоря ни слова, плюхнулся на кровать.

— Там записка тебе, — сказал Коля.

Я сунул руку под подушку, и от прикосновения к бумаге руку обожгло, будто схватился за неостывший кусок литья. Развернул записку: «Жаль, не застал... вы-здравлявай. Завтра выходной... но у нас аврал. Если можешь, выходи».

Почерк у Роговца на удивление ровный и четкий, как у прилежной школьницы. Пробежал записку глазами еще раз и почувствовал облегчение, будто до этого у меня был зажат рот и я не мог дышать.

Жилин искося, затаив полуулыбку, наблюдал за мной. Я спросил:

— Какой аврал?

— В механическом продольно-строгальный на новое место переставляем.

— А-а...

— Выйдешь? В счет сегодняшнего дня отработаешь. Роговец согласен.

Ах, Коля, наивный ты человек! Конечно, выйду. Никуда я не поеду от тебя, от бригады, от общежития.

Целый день я мучился, будто отраву какую съел. Обо всем передумал. Исцеления искал. И вот оно! Записка...

Заглянул воспитатель Лосев.

— А-а, дома! Ты что, проспал — кровать не заправил? «Двойка» комнате за это.

Кто-то его позвал, и он прикрыл дверь с обратной стороны.

Лосев, Лосев, до двойки ли мне сейчас?

АВРАЛ

Мы с Колей одевались потихонечку, чтобы не разбудить Микешина и Якова Мокеевича. В комнате было сумрачно. Это летом мы при солнышке на работу собирались. Сейчас — середина ноября, дни стали маленькие. А тут еще небо заволокло, дождь на улице. Мелкий, тягучий, как назло.

Несмотря на неранний час, общежитие спало — воскресенье. Тихо в коридоре, будто не двести с лишним шумных ребят живут у нас, а одна-единственная тетя Наташа, дремлющая в дежурке. Заслышав наши шаги, гулкие в этой тишине, она вышла к нам навстречу.

— Куда-а? — спросила удивленно.

— На свадьбу, тетя Наташа, — отшутился Жилин.

Увидев нас в спецовках, дежурная сообразила:

— Аврал небось какой? Эх-хе... И в выходной отдохнуть не дают.

Как было договорено, собирались мы не у себя в ремонтном, а прямо в механическом, возле продольно-строгального станка. Его мы должны переправить во второй механический — все старое оборудование сплавляют туда, второстепенный на заводе цех потому что.

Всю дорогу бежали. Дождь к нашим замасленным фуфайкам не приставал, а вот штаны на коленях промокли.

С шумом влетели в маленькую дверь, вырезанную в огромных воротах. Сразу же отряхнулись, как вымокшие щенки.

В цехе — непривычная тишина. Только гудел в даль-

нем углу электрощит да было слышно, как пробегала вода по трубам отопительной системы.

У продольно-строгального Роговец и дед Михалыч. Это уж у нас в бригаде неписанный закон такой: сперва они двое являются на работу, потом мы с Колей. За нами — Степа Квочкин. Ну, а последним, как правило, Васька Фролов. Его, говорят, мать выражает слишком долго. Пока приготовит увесистый «тормозок», пока оденет (да-да, помогает одеваться ему!), уже смена начинается. Благо, живет Васька близко, пять-семь минут — и в цехе.

Поздоровались. Роговец мне ничего не говорит. Как ни в чем не бывало улыбается:

— Промокли, друзья-приятели? Идите, пока есть время, возле батареи коленки посушите.

И ни слова про барабан, про прогул. Нет зла у бригадира. Тонок он в отношении с нами, новичками, — недаром техникум кончал.

Минут через десять явился собственной персоной Степа Квочкин. Еще никого не видя, крикнул на весь цех:

— Здорово, мужики! — Веселый, радостный — квартиру недавно получил.

А следом и Васька Фролов.

Задача наша довольно проста. Продольно-строгальный станок нужно доставить на цеховую погрузочную площадку, а там подцепим краном и прямым ходом ко второму механическому.

Но это легко сказать — доставить. Во-первых, станок длинен — метров десять. Во-вторых, тяжел — тонн пять. В-третьих, над пролетом ходит лишь полутонная кран-балка. Помощи от нее мало.

Придется вручную катить станок метров семьдесят.

Роговец подъехал с кран-балкой, зацепил заднюю — более легкую — часть станка. Попробовал поднять. Трос натянулся, станок, показалось, чуть вздрогнул. Но не приподнялся и на миллиметр. Только у основания цемент слегка треснул.

Быстро отколупали его. Роговец еще раз попробовал. Станок теперь уже заметно приподнялся, но мотор кран-балки был слаб для такого веса, и продольно-строгальный сел на место.

Роговец тем временем повеселел: дело будет.

— А ну, я еще раз дерну, а вы ломики подсуньте.

Дернул бригадир, мы ломики раз с трех сторон под тумбу! Есть!

— Дед Михалыч, подсовывай быстрее! — кричит Квочкин.

Дед Михалыч и так старается половчее подсунуть трубу, но у него ничего не получается.

— Не лезя...

Роговец тогда нас просит:

— Ну, поднатужьтесь!

Поднатужиться-то можно, да перехватиться нужно, рычаг увеличить.

Роговец понял нас. Мигом посмотрел вокруг себя, схватил лежавшую неподалеку трубу меньшего диаметра, подставил ее под тумбу. Мы отпустили ломы.

— Уф...

Без особого труда загнули анкерные болты.

Повозились с передней — тяжелой — частью станка. Мотор кран-балки только попусту урчал, точно зверек перед непомерно большой добычей. Мы понемножечку приподнимали станок, дед Михалыч успевал подкладывать одна на другую тонкие прокладки. Когда наконец подсунули трубу-каток, Роговец объявил перекур.

Закурили, но отдыхать почему-то не хотелось. Мы с Жилиным стали подносить запасные катки, Квочкин с дедом Михалычем убирала с пути щепки, стружки и разный мелкий мусор, Роговец стоял, соображая что-то.

Васька Фролов подошел к бригадиру. Сказал, кивнув на станок:

— Нет, бригадир, не наше это, не слесарное дело — плоское перетаскивать, круглое перекачивать. Тут бы и разнорабочие справились, е-мое.

Роговец будто бы сначала не расслышал Ваську:

— Что, что? Разнорабочие? А мы кто? Мы и есть самые разнорабочие. Разные работы умеем и должны выполнять: любые механизмы ремонтировать, фрезеровать, токарить, на кране работать. Ремонтник — он универсал. И перестановка станков — его забота. Кто это лучше нас делает, не повредив при этом ни одной детальки?

Теперь предстояло продольно-строгальный сдвинуть в сторону, вырулить, как сказал Квочкин, на пролет цеха. А там — прямехонько к погрузочной площадке.

Сдвигали поочередно то одну сторону, то другую. Поначалу, хоть и упирались вовсю, станок двигался медленно. Но тут и обнаружился необычный талант деда Михалыча. Он вдруг скомандовал:

Раз-два, взяли!
Шап-ки сняли!

Улыбнулись мы все, повеселели. И вроде бы меньше усилий стали прикладывать, а станок пошел.

Раз-два, взяли!
Девки с нами!

— Ты где так, дед Михалыч, научился? — спросил Жилин.

А тот только рукой махнул:

— Ге! Чему тут учиться?

Коля мне, однако, шепнул:

— Надо запомнить дедовы команды.

— Давай, давай! — Чудак Коля, он и тут о своей книге думает.

Раз-два, взяли!
Что ж вы стали?

А мы остановились, потому что «вырулили» и поставили станок на маленькие катки. Теперь отдохнуть можно. Перед решающим часом. По прямой станок, как колесик, покатится. Успевай только, дед Михалыч, катки подкладывать! А мы уж поднатужимся.

ВЕЗУЧИЙ

Это Васька Фролов — везучий. Сам он этого не скрывает и даже хвастается. Вот и сегодня явился на работу сияющий, как свежевывмытый помидорчик.

— Подхожу к проходной, е-мое, гляжу — кошелек. Открыл — два червонца, е-мое. — Васька вытащил коричневый кошелек, одной рукой высоко подбросил его, другой поймал, как жонглер какой.

А как-то Васька рассказывал о своей учебе. Рассказывал и хохотал:

— Сидел я, е-мое, за одной партой с Тоней Карасевой. Мы с ней не особо мирно жили. Чуть тронешь — пищит, жалуется. А вот когда диктант, я к ней подлизываюсь. Ты, говорю, Тонь, если кто обидит, скажи, я живо расправлюсь. Тоня милее, е-мое, и не закрывает рукой свою тетрадку. А мне это и нужно — подглядываю. На завтра объявляют оценки: Тоне — «три», мне — «четыре». А раз даже «отлично», е-мое, схватил. А у Тони опять оценка ниже — «четверка».

Однажды буфетчица Лена предложила Ваське лотерейные билеты. Он отмахивался руками и ногами, потом согласился взять один билет, но Лена, зная Ваську, решила наказать его за жадность.

— Берешь два — найду пару бутылок пива. Из собственных запасов.

В другой раз Васька б ушел, не дал над собой издеваться, а тут голова болела после вчерашнего дня рождения. И он сдался.

— Ладно...

Лена достала из-под прилавка две бутылки пива и к каждой — по билету.

— Я ей, е-мое, после благодарность вынес, — рассказывал Васька на перекуре. — На один билет десятку выиграл, на другой — велосипед «Орленок». Потом велосипедный билет, е-мое, я соседу продал. С надбавкой — его сын давно об «Орленке» мечтал.

Да, везучий Фролов!

Вот даже взять историю с подшипником. Васька потерял подшипник с долбежного станка. Нес валик, а подшипник с него не снял. По дороге он и соскочил. Васька чуть погода хватился, да не тут-то было — подшипник не нашел, хоть дорогу от инструментального, где долбежный стоял, в наш ремонтно-механический чуть ли не на коленях прополз. Наверное, кто-то подобрал его, а может, закатился куда.

Васька к Роговцу:

— Виноват, делай что хочишь.

И впрямь: что Роговцу с него взять? Не бить же Фролова, который прикинулся смиренным, как овечка. И жалким. Наоборот, в таком виде Ваську даже по головке хотелось погладить. Вывернулся, черт. Роговец махнул на него рукой и пошел на склад. Там такого подшипника не оказалось. Механик звонил на соседний

завод. Там согласились дать нужный нам подшипник, но в обмен на сколько-то килограммов бронзы.

Бронза — дефицит, но не должен простаивать и долбежный. Пришлось идти на сделку.

Ругали всех: мастера, Роговца, бригаду. Все ходили злые и нервные, кроме Васьки. Он хихикал в кулак:

— Легко, е-мое, отделался. Считаю, повезло...

А я, чудак, столько переживал из-за барабана! Наверное, невезучий, раз из-за каждого пустяка расстраиваюсь.

УРОК АЛГЕБРЫ

Старая математичка Надежда Николаевна диктует условия задачи. Мой сосед по парте, Коля Жилин, записывает их на доске, все остальные — в тетрадях. Все, кроме меня. Я пятого урока не выдерживаю, и моя голова, подобно тяжелому подсолнуху, клонится к парте. Нароботался сегодня, устал. Хочется спать...

— «Из пункта А в пункт Б вышел скорый поезд. Первую половину пути он двигался со скоростью сорок километров в час...»

Скрипят перья. Жилин воображает, как подступиться к поезду...

Слипаются веки. Мой поезд ровным перестуком колес убавкивает меня. Мне тепло и весело. Я лежу на верхней полке и слушаю, как артист и бывший выпивоха (он сам про себя так сказал) ведут свои разговоры. Старшая сестра, которая везет меня в ремесленное училище, исподтишка наблюдает за нашими попутчиками.

Артист после отпуска догоняет свою труппу. Он всю дорогу рассказывает забавные театральные истории и пьет пиво. Бывший выпивоха, возвращающийся к жене, усердно слушает, категорически отказываясь от пива.

— Мне после лечения нельзя. Иначе — опять начну, — говорит он, пряча голые десны: у него только два передних зуба — верхний и нижний. Он держит во рту папиросу, щурясь от настырно лезущего в глаза дыма.

Неприятная резь передается и мне. Я тру глаза.

— «Из пункта А в пункт Б вышел скорый поезд...»

А потом мы ехали автобусом. Автобус был легкий, и подбрасывало его на ухабинках, как жука.

Я долго смотрел в окно. Мелькали посадки, небольшие стада коров, деревеньки и снова посадки с начинающим пламенеть рябинником. Но все чаще я поглядывал на крупные яблоки, что лежали в сетке сидевшей напротив меня немолодой тети. Тетя, перехватив мой взгляд, молча развязала сетку, достала яблоко.

— Ешь!..

Я взял яблоко и, не раздумывая, откусил красный хрустящий бок...

— «Из пункта А в пункт Б вышел скорый поезд...»

В училище мы приехали под вечер. Нас с сестрой накормили перловой кашей, хлебом и бронзовым теплым чаем. А потом воспитатель повел меня в общежитие к ребятам. Остановились у двери комнаты номер двадцать семь.

— Сюда.

Он ввел меня за рукав, как слепца. Мальчишки, сидевшие в дальнем углу на кроватях, вскочили как по команде.

— Опять карты! — прикрикнул воспитатель, но не стал отнимать карты, а мягко сказал: — Вот ваш новый товарищ. Смотрите не обижайте его.

— «Из пункта А в пункт Б вышел скорый поезд...»

Я стоял посреди комнаты, не смея подойти к ребятам или к своей кровати. Наверное, вид мой был очень жалкий (старая холстиновая рубаша, штаны на одной пуго-

вице, сбитые ботинки, подаренные на прощанье теткой Дуней), потому что, как только удалился воспитатель, ребята подняли меня на смех. Смеялись откровенно, долго...

Я вздрагиваю и поднимаю голову. Возле парты стоит Надежда Николаевна. А класс хохочет. Хохочут надо мной все, в том числе и Коля Жилин. Лишь старая математичка спокойна. Она не читает мне нотацию.

— А теперь запишите домашнее задание... — говорит всему классу.

МИЛЛИОН

— Слышь, дед Михалыч, если б тебе, е-мое, дали миллион, что бы ты с ним делал? — развязывая «тормозок», спросил Васька Фролов. Васька любит разглагольствовать на подобные темы. Особенно беззастенчиво липнет он к кроткому деду Михалычу.

Дед Михалыч вытер руки белой ветошью.

— Ге! Хитер, брат! Тут сразу не ответишь, подумать надо.

— Ну, а все-таки? — наседал Васька, приготовившись есть жирную колбасу.

— Вот пристал... Подумать надо, говорю.

Обедаем мы прямо в цехе. Васька аккуратно раскладывает свою снедь на свежей газете «Труд», будто на витрине в гастрономе. Кроме традиционных яиц, сваренных всмятку, тут два пирожка, из которых выглядывает коричневое повидло, термос с горячим кофе.

— Тебя, Васька, мать как на убой откармливает, — пытаюсь я съязвить.

Он улыбается.

— Каждому по потребностям.

Напротив Васьки, на шаткой скамейке, сидит дед

Михалыч. Он пьет чай, налитый в «четушку». Остальную снедь держит в замасленном мешочке.

Когда дед Михалыч ест, он кажется особенно старым, вся кожа на его лице начинает ходить туда-сюда. А ему ведь только чуть-чуть за пятьдесят.

Васька, прожевав кусок колбасы, опять пристаёт к деду Михалычу со своим миллионом. Ему, видно, очень хочется знать, как бы поступил, имея столько денег, дед Михалыч, у которого никогда не бывает за душой лишнего гроша: разряд у него такой же, как и у нас, а семья — трое детей.

Наконец, дед Михалыч отвечает, сложив руки на груди и глядя в потолок — точь-в-точь боженька на иконе:

— Ежли б мне, Васька, дали мильен, в первую очередь перестроил бы дом. Детворе бы обновки купил, жене, сам приоделся бы... Велосипед, конечно, приобрел бы, а то пешком на завод далековато... Ну, мелочи разные там...

— И все?

— Да вроде как все.

— А остальные куда?

Дед Михалыч замялся:

— Не знаю.

— Фу, чудак, е-мое! Я бы на твоём месте работать бросил!

— Ге! — усмехнулся дед Михалыч. — Я до этого и не додумался.

ШРАМ

У меня поперек правой брови — глубокий шрам. Многие уже допытывались, откуда он. А я заученно отвечал одно и то же:

— Сорвался с яблони, а внизу камень был. Вот и рассек.

Все верили до сих пор. И в бригаде поверили, один Васька Фролов сомнение высказал:

— Заливай! Подрался небось с кем?

Я покраснел — не умею, видно, врать.

— Точно, точно, — торжествовал Васька. — Меня, е-мое, не проведешь!

Все равно Ваське я не признался, как дело было. Одному только деду Михалычу — он человек понятливый. По большому секрету рассказал. Все мы были построены во дворе буквой П. В свободном конце толпились воспитатели, мастера, преподаватели. Директора не было, и, видимо, ожидали его.

Никто не знал, зачем нас построили, но все ощущали какую-то тревогу. И потому в строю стояли тихо. Даже самый шустрый в нашей группе Романок никого еще исподтишка не ушипнул, не шушукался со своим другом Кисой — Вовкой Герасимовым.

Они стояли рядом со мной, смирные, примерные, хоть особой дисциплиной не отличались, учились оба плохо, а сегодня со второго урока вообще сбежали. Они и меня звали с собой.

— Ты, — спросил меня Киса, — хоть раз пареную гусятину ел?

— Нет, — ответил я. — А как ее парят?

— Айда с нами — узнаешь. В песке парят. В тряпочку гуся завернут, тряпочку — в песок, а сверху — костер. Айда!

— Не, страшновато, воспитатель за самоволку и так ругал. После занятий — пойду.

— Ну, как хочешь.

И они сбежали...

Стоим, ждем.

Наконец из-за административного корпуса появился наш директор Павел Трофимович Сеницын. Он одет в черный китель, черные галифе, начищенные сапоги поблескивают. Директор направляется к строю, легко ступая, несмотря на большой живот. Лицо его — издали видно — суровое. Сеницын вообще мало улыбается, а тут совсем туча тучей.

Все уставились на директора, и никто не обратил внимания на сопровождавших его мужчину и женщину. Мужчина нес в руках, на уровне груди, что-то белое.

Сеницын остановился, пропустил вперед мужчину с женщиной, и только теперь их заметили.

Они прошли к середине строя, и мужчина бережно опустил наземь свою ношу — двух мертвых гусей. Он положил их рядышком, аккуратно выпрямил им шеи и лишь тогда отступил на шаг назад, к женщине, стоявшей с потупленным взглядом и вроде бы виноватой.

Директор находился тут же.

Все было ясно: кто-то из ремесленников убил гусей. А может, даже знают, кто, и сейчас злоумышленники будут известны всем. Сеницын затем станет гневно советовать нас: государство, мол, содержит вас не для того, чтобы вы попали в тюрьму, а для того, чтобы вы росли достойной сменой славного рабочего класса.

Вот он уже вынул из кармана брюк платочек, вытер губы, медленно повернул голову слева направо, осматривая нас.

Громко заговорил. Многие вздрогнули.

— Видите? — почти выкрикнул Сеницын, указав рукой на белых-пребелых гусей, лежавших перед нами. — Их убили наши учащиеся. Эти люди, — директор кивнул в сторону мужчины и женщины, — заметили, что хулиганы были в форме ремесленников. Жаль, не могут опознать... Я спрашиваю: зачем понадобились эти гуси?

Чтобы их съесть? Прошу выйти из строя тех, кому не хватает питания. Мы будем выдавать им двойную или даже тройную порцию, лишь бы не зарились на чужой труд, не позорили наш коллектив.

Я смотрел на гусей, на два белых сугробика, застывших на сером асфальте училищного двора. Иногда ветер шевелил на них перья, и тогда меня озаряла надежда: а вдруг гуси оживут? Или хотя бы один из них... Ожил же прошлым летом, когда я стерег чужое стадо, гусенок Дарьи Грачихи. А ведь тоже вот так лежал на кок-сагызном поле — объездчик уложил его кнутом с кожаным узоватым наконечником. А может, лошадь наступила.

Я тогда с обеда шел. Слышу — мои гуси перепуганно орут. Я бегом. Подскочил к объездчику: «Дяденька, не бейте гусей, дяденька, не надо!» Сквозь слезы объяснить ему пытался, что не виноват я, что, уходя на обед, Кольке Андрееву поручил за гусятами поглядывать, а он, наверно, купаться ушел... Под объездчиком лошадь молодая, горячая, того и гляди на меня наскочит. А я забегаю вперед, стадо собой заслоняю. Объездчик вскинул кнут: «Не виноват, говоришь?» Да как поронет меня вдоль спины — рубаха пополам. «Смотри мне в следующий раз!» — пригрозил. И ускакал. А я кинулся к лежащему на поле гусенку, схватил его, прижал к груди. И навзрыд заплакал. Не от боли плачу, а оттого, что гусенка жалко. И боязно еще было: как покажусь на глаза Грачихе? Ладно, когда с неделю назад хорь ее гусенка в кустах задрал, она ничего не сказала, даже утешила меня, ничего, мол, не переживай, хорь, он зверь такой, где угодно добычу подстережет. А тут заругает. Да еще платить заставит...

Положил я гусенка в тень под дерево на зеленую травку, сам рядом сижу, горюю. Вдруг слышу Колькин голос из-за спины: «Вот ты где? Что случилось?» Уви-

дел гусёнка, сник: «Опять хорь?» — «Объездчик». — «Так гусенок дышит, — обрадованно закричал Колька. — Оживет он, оживет!..»

Гусенок к вечеру встал на ноги. Только крыло волочил. Я бедняжку почти до самого дома Грачихи нес — силы ему сберегал, а там уж пустил в стадо...

Директор говорит, а у меня к глазам подкатываются слезы.

— У этих людей, — опять указывает Синицын на мужчину и женщину, — пятеро детей. Их не кормит, как вас, государство. Все им надо купить, и эти люди рассчитывали на доход от гусей. А кто-то из наших, считай, обокрал семью...

Неужели, это сделали Романок и Киса? Оборачиваюсь — они уже в последнем ряду стоят. У Кисы испуганные глаза. Мы встретились взглядами, он поднес палец ко рту: ни звука, мол!

Значит, догадка моя верна.

Я представил тех пятерых детей. Все мал мала меньше. Как у Дарьи Грачихи. У нее, правда, четверо было. Представил, как возвращаются домой их отец с матерью, приносят убитых гусей и говорят: «Вот загадывали за этих гусей кое-что вам купить, а теперь — не сможем».

А директор уже в который раз повторяет:

— Прошу выйти вперед тех, кто совершил этот омерзительный поступок. Если человек раскаивается в содеянном, он не струсит и признает свои ошибки.

Молчание. Никто из строя не выходит.

Перед моими глазами — пятеро детей...

— Прошу выйти вперед того, кому известно, кто убил гусей, — спрашивает строй директор.

И я делаю шаг вперед.

Вечером в нашей комнате мне устроили темную. Били больно, чем попало. Чаще — просто кулаками. Я упал, закрыв лицо руками, не плача и не взывая о помощи. И все-таки не уберег лицо — кто-то рассек мне бровь. Ботинком или кастетом.

Ах, нет, это я сорвался с яблони!..

НОВАЯ ВЫВЕСКА

Нашу Литейную переименовали в улицу имени Героя Социалистического Труда Милько. Бывшего заводчанина, тридцать лет прожившего здесь.

Яков Мокеевич, узнав новость, в тот же день собственноручно изготовил новую вывеску. И вот теперь решил прибить ее на углу общежития. Опасаясь, как бы не соскользнула шаткая деревянная лестница, он покликал проходившего мимо вахтера Хомякова.

— Иди, дед, поддержи. Я в один миг.

Хомяков, видно, не спешил и согласился помочь. Сначала он думал, что Яков Мокеевич просто меняет старую вывеску, а когда прочел новую, усомнился:

— А официальное разрешение есть?

— В газете было.

— Тогда все в порядке. Полезай, держу.

Яков Мокеевич бойко влез на лестницу и принялся клещами срывать дощечку с прежним названием улицы. Поржавевшие гвозди то и дело ломались, и он с ними особо не церемонился: те, которые не поддавались, Яков Мокеевич вбивал насовсем.

Хомяков, сделав глубокую последнюю затяжку, помолодому, щелчком стрельнул окурочек. Он упал в мутную мартовскую лужицу и с шипением погас. Подпирая плечом лестницу и не глядя на Якова Мокеевича, вахтер размышлял:

— Жить бы да жить ему еще. Плохих людей, как посмотришь, никакая хворь не берет, а такие, как покойник, сгорают быстро.

Яков Мокеевич, увлеченный своим делом, не слушал Хомякова. Прибив наконец новую вывеску, он последний раз прошелся молотком по шляпкам гвоздей.

— Все. Навечно!

И легко прыгнул с лестницы.

«УЧИСЬ, УЧИСЬ...»

Как-то перед нарядом Васька Фролов накинулся на меня:

— Ну что из того, е-мое, что ты учишься? Денег больше получаешь? Нет. Лучше меня слесарное дело знаешь? Не сказал бы. Ученым хочешь стать? Что ж, становись, а мы поживем в свое удовольствие. В кино ходим, с девчонками погуляем, отоспимся наконец. А ты, е-мое, учись на здоровье. Вон каждый день недосыпашь — глаза, как у кролика. Учись, учись!.. А мне и так везет. А кому везет, говорят, ума не надо.

Не люблю с Васькой спорить и пропускаю его слова мимо ушей. Осадил Фролова рассудительный Роговец:

— Не трепись! Не защищай свою лень-матушку. Правильно парень делает, что учится. Теперь можно учиться — все условия. В общежитии вон даже специально комнату выделили для занятий. А я в свое время вечерний техникум, считай, в туалете закончил. В квартире — четыре семьи. Тесно, шум, гам. Так я закроюсь в туалете и учу. Однажды соседка сует мне порошок. «Выпей, — говорит, — это от расстройства желудка...»

Бригада загоготала. Роговец хлопнул Ваську по плечу:

— А ты: «В свое удовольствие...» — И, сделав паузу, скомандовал: — Ребята, за работу!

ГАЙКА

Не успел я войти в цех, а Роговец уже отрядил меня: — Срочно посмотри, что там с девяносто шестым.

Я без лишних слов за инструмент — и на токарный участок. Быстро нашел девяносто шестой: номера на станках у нас проставлены броско — белым по светло-зеленому.

— Здоров, Петь! — сказал я из-за спины хозяину станка Петьке Негодяеву.

Он обернулся:

— А-а, быстро тебя прислали. Иной раз из-за вашего брата по целой смене простаиваешь.

Я не обратил внимания на его слова, так как привык — к упрекам да напраслинам. Станочники редко хвалят ремонтников, считая, что мы работаем кое-как, лишь бы лишь бы. А мы, в свою очередь, считаем токарей самыми нерадивыми и неисправными людьми, которые способны только ломать.

— Что случилось? — спросил я у Негодяева, ставя у ног ящик с инструментом.

— Пиноль не зажимает — гайка куда-то делась, — в знак доказательства он легко крутанул винт, которым крепится пиноль. Когда винт остановился, Петька вытащил его. — Держи, если не веришь.

— Верю, Петь, это зло... Гайку я вмиг заменю, так что будь спок!

— «Будь спок», мне ж в центрах работать... Валы. Я пожал плечами:

— Попроси другое задание — запасных гаек у нас нет.

— Придется, — смиренно проговорил Петька, — не простаивать же.

Гайку я заказал сразу. Делать ее просто: обточить, просверлить, резьбу метчиком нарезать. Но возни при этом много. Я сам встал за станок и профрезеровал ее. Провозился почти до обеда. И — еще горячую — пошел ставить.

Незаметно для Петьки поставил гайку. Зажал винт до отката, попробовал, крепко ли держит он пиноль. Крепко!

— Готово!

Петька на сей раз не вздрогнул, а спокойно повернул лицо, будто давно ожидал моего внезапного выкрика.

— Спасибо. А я тут со стаканами вожусь, — не отрываясь от работы, сказал он. — Их токари, как черт лада-на, боятся: сложные, а цена — шиш. Нормировщик намудрил, а мы расхлебываем.

— Не плачь, Петька, на другом заработаешь, — подбодрил я его. — Лучше ветошь дай руки вытереть.

Петька, не отрываясь от работы — он делал глухую расточку, — ответил:

— Не получал нынче. У Аркашки Малинина есть.

Аркашкин станок рядом. Над ним — столб дыма от горящего масла: Малинин снимал с заготовки вала первую стружку (Петькину работу ему отдали). Посвистывая, он стоял буквой Ф — руки в боки — напротив вращающегося патрона, и ветер шевелил рыжую челку на его маленьком лбу.

— Дай ветоши!

— Сам бери. — И указал на тумбочку, стоящую рядом со станком: — Внизу.

Я приоткрыл тумбочку и потянул клок ветоши. Оттуда что-то выпало и ударилось о мой ботинок. Я по-

смотрел — рядом с ботинком лежала гайка, старая гайка с Петькиного станка, вместо которой я только что поставил новую.

Аркашка заметил, что я поднял гайку, и наши взгляды встретились. Смотрели мы друг другу в глаза несколько секунд. Смотрели молча, но сказали наши взгляды многое. «А я удивлялся, — подумалось мне, — почему его никто в общежитии не любит».

Загородив мне дорогу, Аркашка испуганно пролепетал:

— Не надо... никому. Это я пошутил... просто так... Иначе б эту работу мне не дали. Я хоть малость на валах того... подколымлю... Не надо, слышь... Никому.

Я отстранил его, вытер руки о спецовку, взял инструмент и пошел в свой цех с таким чувством, будто наступил на гадкое насекомое.

НЕ УГОДИЛ...

Все-таки у Петьки редкая фамилия — Негодяев.

Ребята, заводские его товарищи, уже сколько раз советовали ему:

— Слушай, Петь, смени ты свою фамилию.

А он равнодушно отмахивался:

— Далась она вам...

— Как же ты с девушкой будешь знакомиться?

Негодяев, не моргнув глазом, отвечал:

— А я на знакомой женюсь.

Могло показаться, что странная Петькина фамилия смущала окружающих больше, чем его самого. Впрочем, так это и было на самом деле.

— Лишь бы я в жизни негодяем не оказался, — рассуждал Петька. — И прадед мой, и дед, и отец прожили,

слава богу, Негодяевыми и не полиняли. Ничего и сомной не станется. Не в фамилии дело...

Так-то оно так, но...

Встречает его как-то председатель цехкома. Не стесняясь, говорит:

— Решили тебя на Доску почета занести вместе с другими токарями, но я дал указание художнику, чтоб пропустили тебя. Не звучит это: «Негодяев, ударник комтруда». Ты уж не обижайся. А премию выделим, это как полагается.

В цехе Петьку знали все. Да и как не знать, если каждому новичку в первый же день показывали:

— Вон на крайнем ДИПе, с родинкой на щеке... Петька Негодяев.

— Дразнят, что ли, так?

— Да нет, фамилия.

В столовой, когда подходила Петькина очередь, буфетчице Лене нравилось спрашивать:

— Тебе что, Негодяев, нужно?

Спрашивала, а сама отворачивалась, чтобы не рассмеемся. Петька же, как ни в чем не бывало, заказывал:

— Выбей, пожалуйста, щи, рагу, чай с лимоном.

Посторонние, не заводские, начинали при этом шушукаться:

— Ну и грубиянка!

— А он, смотри-ка, стерпел...

Кто-нибудь за соседним столиком подсказывал:

— Это фамилия такая.

— Ну? Не повезло парню.

По-своему относился к Петькиной фамилии кладовщик цеховой инструменталки Фома Сергеевич. Человек пожилой, спокойный, но с одной слабинкой: охоч до выпивки. Если утром ему не удавалось опохмелиться, он без обиняков спрашивал:

— Трешки, Петро, не найдется?

— Найдется, Фома Сергеевич.

Довольный кладовщик, выдавая Петьке инструмент, записывал его фамилию так: «Не годяев». Мелко-мелко. Но коль у Петьки не находилось лишней трешки, Фома Сергеевич крупно писал: «Негодяй». Петька не обижался. Он привык. Ему что Петров, что Сидоров, что Негодяев. Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Какой толк, что у его соседа по станку, Аркашки, красивая фамилия? Малинин! Петька, хоть и Негодяев, а работает вдвое быстрее. Его даже на Доску почета хотели повесить. А Аркашку собираются за прогулы уволить...

Так Петька и жил. Не унывая. Не отчаиваясь. Не обижаясь на явные насмешки.

Но однажды он сообщил ребятам, и председателю цехкома, и буфетчице Лене, и Фоме Сергеевичу (Малинину не успел — того и впрямь уволили):

— Все! Теперь я — Соколов!

Ребята на это сказали:

— И выбрал же фамилию! У нас на заводе Соколовых знаешь сколько!

Председатель цехкома сказал:

— Теперь звучит! Хотя у нас есть Соколов. Расточник. И тоже Петр.

Буфетчица Лена сказала:

— Вон как? Ты уж прости в таком случае, прости, что я тебя... Негодяевым звала.

Фома Сергеевич сказал:

— Зря! Хотя стой: трешки не найдется?

И тогда Петька Соколов, почесав затылок, сказал Петьке Негодяеву:

— И дернул же тебя черт! Не угодил же все равно...

БЕЗОТКАЗНЫЙ

(Из рассказа *Степы Квочкина*)

В самом конце смены, бывало, мастер говорит мне:

— Задержись, прошу, на час-два, фрезерный нужно срочно отремонтировать.

— Опять Роговец подослал? Сам пусть и остается.

— Нельзя ему — вечером в техникум надо.

Не люблю, чтобы меня спрашивали. Остаюсь. Ремонтирую.

Дня через три опять подбегает ко мне запыхавшийся мастер:

— Задержись. Ну, последний раз... Понимаешь... молот в кузнечном поломался... Стоит.

— Пусть дед Михалыч, я уже задерживался.

— Что ты?! Его Нюрка завтра такой скандал в завкоме устроит! Мол, муж и так с семьей не бывает — за сто верст живет, а они его сверхурочно.

— А-а, — недовольно машу рукой, но беру инструмент и иду в кузнечный.

Через недельку мастер подзывает меня:

— Читал, как я тебя в многотиражке расхвалил?

— Читал, спасибо.

— То-то! Ты теперь, так сказать, пример для других!

— Бросьте уж, какой там я пример, — краснея от смущения, говорю мастеру.

— Живой! Живой пример! — И, чуть понизив тон, мастер веско говорит: — Должен сегодня задержаться! Ради общего дела. Срывается разгрузка вагонов — бахлаит кран.

— Пусть Васька Фролов, я уже задерживался.

— Васька не может — гости к нему нагрянули... Тетка из деревни.

Опять недовольно машу рукой. Опять задерживаюсь.

Однажды мы с мастером сидим-толкуем о житье-бытье. Между прочим, он спрашивает:

— Жениться небось думаешь?

— Думаю.

— Скоро?

— Угу.

— Шутишь небось?

— Да нет! На свадьбу вот с Верунькой пригласим. Мастер вздрагивает.

— Шутишь, говорю, небось?!

— На свадьбу вот пригласим!

Поднимаю глаза на мастера и вижу — не верит.

А я недоумеваю: чего ж тут не верить?

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТЕМЫ

Вот и все...

Пусто на душе, как в саду по осени после долгого ветра-листобоя. И самое странное то, что ждал я этого дня, жил, считай, им и ради него. Думал: напишу сочинение — последний экзамен — гора с плеч. Хоть отдохну малость.

Ну, написал, скоро аттестат получу. Рад, да не очень. Грустно, что навсегда покидаю вечернюю школу, что класс наш теперь распадется. А сколько пережито вместе, как сдружились! Особенно во время экзаменов. Мы, взрослые люди, друг за друга переживали за дверью, как робкие первоклассники. Особенно за слабеньких.

Я написал сочинение одним из первых. Но сдавать его не торопился, ждал, когда закончат Коля Жилин и Алексей Ерохин, сержант милиции, живущий в нашем обще-

житии. Коля выбрал тему «Новаторство Чехова-драматурга», Алексей — «Горький и Маяковский о Ленине». Последнюю больше всех пишут. К ней все подготовлены, поскольку знают, что эта тема бывает почти ежегодно.

За Жилина я был спокоен. А вот Ерохин мог погореть. Он в математике силен, а в сочинениях не больно. Искося заглядывая к нему в тетрадь, я прикрывал ладонью рот и так, чтоб было слышно только одному Алексею, шептал: «Интеллигенция» — два «л», «революция», свершившаяся...» — после «революция» запятая...

Я взялся за свободную тему: «Расскажу о хорошем человеке». Ухватился-то я за нее сразу, да начать никак не мог. Что ни предложение — все не так. Казенно, сухо, не от себя. И вдруг осенило! Начну так: «Мне везло на хороших людей...»

И написал о них. О Филиппе Петровиче Любушкине, мастере из ремесленного училища, который, прощаясь, наставлял нас так: «Ребята, живите честно! Пусть голодно, но честно. Холодно, но честно. Во!»

Я привел эти слова в своем сочинении.

Написал о Якове Мокеевиче, Микешине, дававшем нам с Колей Жилиным первый урок жизни — как беречь деньги.

Роговец, дед Михалыч, Степа Квочкин — сколько за короткое время хороших людей я узнал! Даже в Васье Фролове есть что-то хорошее. Хотя бы то, что умеет работать.

Писал я быстро и самозабвенно. Посчитал — восемь страниц! Все планы перевыполнил...

Перечитал — понравилось. Только в одном сомневался: может, нужно было только о ком-нибудь одном писать? А тут — целое общежитие!

Отложив сочинение в сторону, решил еще подумать.

Подошла Надежда Николаевна — она у нас классный руководитель. Тихонько спросила:

— Не ладится?

— Ладится. Только я отклонился, написал не об одном — о многих...

Она успокоила.

— Не беда. Главное — ошибок поменьше.

Да оно и верно, если разобраться.

ОСОБЫЙ СПРОС



1

Работу свою Лосев начал с устройства личной жизни. Отдал на прописку паспорт, перевез от сестры, где квартировал первое время, чемодан с кое-какими вещичками.

Комната, куда поселили нового воспитателя, была на два человека. Жили тут, как правило, люди малость привилегированные. Совсем недавно на месте Лосева учитель спал. Теперь ушел — женился.

Вторым жильцом был сержант милиции Алексей Ерохин. Ему, само собой разумеется, нужна малонаселенная комната — как-никак с оружием человек имеет дело, нельзя, чтобы много глаз видело, куда Ерохин пистолет прячет, когда, скажем, умываться идет.

Алексей спал, зашел воспитатель. Лосев, чтобы не разбудить его, тихонько, почти на цыпочках, прошел к свободной кровати и осторожно поставил чемодан. Осмотрелся. Комната невелика, но и не мала. Вдвоем жить можно. Стены салатного цвета, казалось, излучали тепло. Окно было полузавешено светло-зелеными шторами.

Лосев присел на стул, который оказался довольно скрипучим. Чтобы не разбудить этим скрипом соседа, воспитатель привстал и положил на стул чемодан. Затем стал потихоньку его открывать. Правый замок открылся сразу, а левый заело. Лосев ключ туда-сюда вращал — безрезультатно. Попробовал посильней нажать — ключ согнулся.

Лосев решил взломать замок — на столе очень кстати лежала отвертка с наборной разноцветной ручкой. И когда он потянулся за ней, милиционер вдруг проснулся, испугав Лосева громким певучим голосом.

— Не стоит ломать. Счас помогу-у...

Лосев отпрянул назад, сердце его екнуло.

— Б-бесполезно.

— Ну-ну!

Ерохин в два счета оделся (армейская выучка!), достал из кармана галифе связку мелких ключей на тонкой золотистой цепочке. Одним ключом попробовал открыть чемодан, другим, третий — после небольшого усилия — сработал. Ерохин победно выпрямился:

— Есть! — маленькие глаза его довольно сверкали. — Давайте знакомиться: Алексей.

Лосев протянул руку:

— Евгений. — И добавил: — Воспитатель. — При этом он чуть заметно покраснел. Но вовремя собрался: «Что это я как девица?»

— Знаю, — доброхотно сказал Алексей, давая, видимо, этим понять, что Лосева в общежитии ждали. — Слышал, говорили тут про вас.

Лосев не стал спрашивать, кто говорил про него — он все равно никого еще не знал. А в то, что ждали, он не особенно поверил. Обычный комплимент новенькому.

Закончив выкладывать из чемодана пожитки и спрятав их в приземистый шкаф, Лосев долго решал, что делать дальше: прилечь отдохнуть или написать матери письмо? Сел за письмо — обещал ведь сразу сообщить, как устроится.

Письмо получалось довольно длинным. Ладно, уважит старушку на сей раз — до мелочи все описывал. Даже про Алексея обмолвился: живу, мол, вместе с милиционером, парень — во, умолчав, что знает его считанные минуты. Работа нравится, хотя еще слабо представлял ее. Ну, да мать не осудит за эту святую неправду — откуда ей знать все? Большинство людей матерям неправду пишет. Особенно, если трудно приходится, если все в жизни — впервой.

Раньше, в армии, Лосев не баловал мать подробностями: жив-здоров, служба идет нормально — и точка. Сейчас — другое дело, сейчас она наверняка переживала за него: где ее Евгений, может, назад, в свою деревню вернется? Сидит и смотрит в святой угол, будто ждет, когда расскажут ей о сыне медноцветные ангелы и чудотворцы.

Лосев даже представил ее вот такой — сидящей на старой лавке с опущенными загорелыми руками. И то, как она привычно спохватилась:

— Что ж я, старая, бездельничаю — куры еще не кормлены, поросенок!..

Бежит во двор, на ходу утирая уголками платка повлажневшие глаза.

Лосев писал про погоду, про цены на продовольствие, про свой завод, по которому, правда, он только однажды прошелся. Пусть читает, пусть не думает, что ему туго на чужой стороне.

Конверта у Лосева не оказалось. Алексей заметил это, мигом одолжил:

— Берите, я пишу одному лишь другу да и то в два-три месяца раз. А конвертов накупил вон сколько! — И для доказательства он вытащил из тумбочки книгу Льва Никулина «Мертвая зыбь», разделенную пополам толстой пачкой синих конвертов. — Берите!..

— Спасибо, Алексей, только давай на «ты». Мы ведь, наверно, ровесники?

— Не знаю. Мне — двадцать три на днях.

— Ну вот, а я — на полгода старше.

Пока Лосев писал, Алексей, постелив сверху скатерти газету, чистил пистолет. Заклеивая конверт, воспитатель искося поглядывал на милиционера: лицо маленькое, почти детское, а туловище сбито крепко, в нем чувствовались сила и ловкость.

— Как тут насчет порядка? — спросил Лосев. — Драки бывают?

Ерохин, не отрываясь от дела, ответил:

— В общем-то тихо. Случается, кто с получки и хочет почесать кулаки. Но до драки не доходит — ребята сами не допускают этого, враз усмирят. С поселковыми, правда, иногда общежитские цапаются. А так — тихо.

2

После обеда он зашел к коменданту. Анна Ивановна Галкина, женщина полная, невысокая, увидев в дверях Лосева, мигом поправила вырез на платье, застегнула кофту на все пуговицы. С новым воспитателем ее позна-

комили накануне в завкоме, но ей, человеку весьма любопытному, не терпелось узнать подробней об этом молодом человеке. Ее уже не раз расспрашивали общежитские дежурные и уборщицы, но она честно разводила руками:

— Видела, вроде ничего, а кто он да откуда, поверьте, не знаю.

Увидев вошедшего воспитателя, она мягко поздоровалась, пригласила Лосева присесть. Участливо спросила:

— Ну, как устроились?

— Спасибо, все в порядке.

— Сосед как?

— Ничего, по-моему, приятный парень.

— Разве ж мы вас с кем зря поселим! — не без гордости, стараясь выглядеть заботливой, сказала Галкина.

«Льстит!» — мелькнуло в голове у Лосева.

А Галкина продолжала:

— Ерохин до армии на заводе неплохим токарем был. После демобилизации райком комсомола в милицию предложил. Согласился, хотя в заработке потерял... — И, сделав паузу, спросила: — Ну, вы зачем пожаловали, Евгений Сергеевич?

Лосев замаялся, потому что запамятовал вдруг, зачем пришел к коменданту. Ему стоило больших усилий вспомнить.

— За списком я... Список жильцов мне... Можно?

— Отчего ж нельзя?

Галкина открыла правую тумбу письменного стола и, не глядя, извлекла оттуда пухлый скоросшиватель. Отстегнув несколько листков, Анна Ивановна протянула их Лосеву. Это был список, отпечатанный на машинке, — четвертый или пятый экземпляр. Но если внимательно взглядеться, разобрать фамилии можно.

— Лучшего нет, — как бы извиняясь, улыбнулась Галкина. — Вы, кстати, по специальности кто?

Лосев знал, что рано или поздно ему зададут этот вопрос, и не смутился. Анна Ивановна следила за ним хитроватыми заплывшими глазками.

— Агроном я, — прямо сказал Лосев. Его взгляд как бы подтверждал: да, я человек прямой и ни капельки не стесняюсь своей бывшей профессии. — После техникума. Ну, а если точнее — комсомольский работник. До службы заводотделом был, и в армии тож.

Галкина легко — не по комплекции — повернулась вместе со стулом к воспитателю, — он сидел справа от стола

— Фью-ю! Так вы почти по специальности пошли. Ваш предшественник застоловой был. Сейчас — опять на старом месте. А вы — почти по специальности, раз с молодежью работали. Вот только молодой, чай...

Лосев пожал плечами: может, и молодой, что поде-лаешь...

Воспитателем Лосев стал случайно. После демобилизации он хотел только погостить у старшей сестры, а затем вернуться домой, в районе работу поискать. Но вышло так, что сестра уговорила его остаться: «Пойдешь к нам на химзавод, — здраво рассуждала она, — походишь месяц в учениках, а там — самостоятельно. Нам аппаратчики нужны. Да и зарабатывают они неплохо».

Муж сестрин то же самое толковал Лосеву. И он сдался.

Остаться Лосев остался, а на химзавод не пошел. Его не прельстила зарплата аппаратчика. Он любил общественную работу. Он не мыслил себя вне молодежи, вне ее забот, тревог, песен, вне ее шума наконец. В школе он был старостой класса, в техникуме — комсоргом, а по-

сле техникума его взяли в райком комсомола; в армии — комсоргом части избрали. Беспокойная, подчас суматошная деятельность общественника не угнетала его, а, наоборот, придавала сил.

Он обратился в райком партии. Худенький юркий инструктор, выслушав его, первым делом поинтересовался:

— Образование? Специальность?

Лосев растерялся, предвидя печальный исход: как раз шла кампания по «вылавливанию» в городах сельских специалистов. Их совестили, им грозили выговорами, а они, как правило, правдами и неправдами ни за что не хотели ехать в деревню.

Лосев ответил и приготовился слушать.

Инструктор что-то записал в перекидном календаре. Лосев, подождав, пока инструктор допишет, решил чистосердечно признаться:

— Понимаете, не по призванию я поступил, а чтоб матери легче было. Нас трое у нее... Учиться после семилетки хотелось, да средняя школа от нашего села за двенадцать километров. Квартировать надо было. А за что? Ну, я и подался в техникум — тоже недалеко, в райцентре. Там хоть маленькая, а стипендия.

Инструктор, видимо, был человеком, умевшим слушать других, он кивнул головой Лосеву: продолжайте, мол.

— Ну, кончил техникум, — уже смелее рассказывал Лосев, — а к агрономии был равнодушен, как сытый к похлебке. А тут заворгом пригласили...

Инструктор потрогал круглый подбородок.

— Да-а... Вы член партии?

— Так точно.

— Отлично. Если мы вас воспитателем порекомендуем?

Лосев часто заморгал, соображая.

— Это как — воспитателем?

— А так. В машзаводское общежитие. К молодежи поближе. — вы же сами об этом просили.

Все правда, Лосев так и сказал: поближе к молодежи. Но он втайне надеялся, что ему предложат комсомольскую работу, которую он знал и любил. А тут — воспитателем. От одного названия этой должности веяло однообразием и скукой. К тому ж в его представлении воспитатель обязательно должен быть человеком в годах, солидным, чтобы влиять на воспитанников и не только своим положением, но и авторитетом жизненного опыта.

Инструктор, видя, что Лосев колеблется, — а выпустить из района молодого коммуниста ему не хотелось, — уже стал чуть ли не уговаривать его:

— Ничего страшного нет. Наладите работу актива — и вдвойне легче будет. Культпоходы, вечера — все актив поможет.

«Актив... Где он, актив? — мысленно противился Лосев. — Его пока создашь, могут с работы вытурить. Эх, может, права была сестра — нужно было пойти в аппаратчики...»

— Струсили, значит, коммунист Лосев? — Инструктор привстал со стула, прошелся вдоль кабинета, сложив руки на груди.

Лосеву отступать было некуда. Он посомневался еще несколько секунд и твердо сказал:

— Согласен. Попробую.

3

«Значит, так... Как советовал инструктор, надо начинать с создания актива», — сказал про себя Лосев. Он, собственно, и сам знал, что в общественной работе — один в поле не воин.

Лосев сидел в раздумье один на один со списком жильцов. Вот они, фамилии двухсот его «воинов». Но одно дело — фамилии на бумаге и другое — живое войско. Нет его, нет...

Предшественник Лосева, рассчитавшийся с полгода назад, никакого актива не оставил. Он, говорят, был оригинальным человеком и больше следил за работой уборщиц и дежурных, чем занимался непосредственно воспитательскими делами. Известно, привык в столовой женщинами командовать, не до ребят ему было.

Лосев решил начинать со старост. Во всех ли комнатах они есть? Где нет — изберет. Заодно начнет знакомиться.

Вечером, прихватив с собой толстую общую тетрадь и список жильцов, он пошел по комнатам. В первой же комнате выяснилось, что староста давно женился и теперь живет в коммунальной квартире.

Воспитатель заходит в следующую комнату. Тут густо накурено, скатерть со стола сползла, одной стороной почти касаясь пола.

— Здравствуйте!

В комнате трое парней. Отозвался один:

— Привет! Слушаем вас...

— Я — воспитатель. Зовут Лосев, Евгений Сергеевич.

— А я — Павло Панов. Токарь-универсал пятого разряда.

— Кто у вас староста? — сдержанно спросил Лосев.

Опять за всех ответил Павло, кивнув в сторону щупленького паренька с черной вьющейся шевелюрой:

— Клим, Колосков Клим у нас.

А тот вздрогнул от этих слов, вроде его ужалили раскаленной иглой. И залепетал:

— Что вы! Что вы! Никогда не был! Сеня Стариков у нас староста.

Лосев вежливо предложил:

— Давайте тогда выберем, раз нет старосты.

— Давайте, — согласился Панов. — Я выдвигаю кандидатуру Колоскова.

Клим опять вздрогнул, но быстро сориентировался:

— Я выдвигаю Старикова.

Стариков тоже не растерялся:

— Я — Панова.

Все трое оказались выдвинутыми. Лосев опять очень вежливо попросил:

— Вы, ребята, серьезно давайте!

— Давайте, — опять согласился Панов.

Лосев чувствовал, что в разыгрываемом спектакле он в не совсем приглядной роли. Но терпел, старался держаться официально. Пытался перехватить инициативу, взята «вожжи» в свои руки.

— Мне кажется, самая подходящая кандидатура — ваша, — сказал он Панову.

Панов сделал медленный жест рукой:

— Не пойдет! Нарушаете демократию.

«Ладно, — решил Лосев, — надо кончать».

— Будем голосовать по порядку предложенных кандидатур? — спросил он.

— Будем, — ответил Панов.

— Кто за то, чтобы старостой избрать Колоскова? Павло с Сеней бодро подняли руки.

— Кто против?

Против, разумеется, Клим.

— Большинством голосов избирается Колосков.

Павло захлопал в ладоши:

— Поздравляю, Клим, с тебя причитается!

Клим грустно посмотрел на Панова:

— С получки, так и быть...

— Нет-нет!

— Так у меня двадцать рублей всего. — Клим Колосков в доказательство достал из кармана брюк две красные десятки.

Лосев уж взялся за дверную ручку, считая свое дело сделанным, но тут его вдруг остановил Панов:

— Товарищ воспитатель, одолжите Колоскову четвертную.

Несколько секунд Лосев пребывал в замешательстве. Одолжить для явной выпивки? Но и отказать при первом знакомстве нельзя: жадный, подумают. Выбрал старосту на свою голову...

Дал «двадцатьпятку», сам понимая, что и впрямь сыграл в спектакле не лучшую роль.

Но стоять раздумывать некогда. Еще вон сколько комнат надо обойти! Может, и похлеще встречи будут.

Лосев настроил себя, свои нервы для первого визита к ребятам, он был в этот вечер и собранным, и в меру простодушным, чтобы не дать повода заподозрить себя в холодной официальщине. Всем своим видом, своим поведением он старался не возвыситься над жильцами, а стать равным, наделенным известными им правами.

В следующей комнате старостой избрали Аркадия Малинина. Он жил вместе с братьями-близнецами Дробязкиными. Одного Федей звали, другого — Костей. Но спроси у Лосева, кто из них кто, не ответит — братья похожи, как две капли воды. Потом, со временем, он научится их различать — по татуировкам: у одного «Ф» выколото на левой руке, у другого — «К».

Когда Лосев зашел в комнату, вся троица играла в домино. С «базаром». Лосев представился, ребята оживились.

— Присаживайтесь, «козла» заьем.

— В следующий раз, — схитрил воспитатель. — Сейчас нужно старосту избрать.

— Так у нас Малина! — в один голос воскликнули братья. — Мы его переизбираем!

На том и порешили. Причем, сам Малинин не возражал, поскольку игра была в его руках и ему не терпелось сгонять братьев на «базар».

В какую б комнату ни зашел Лосев, везде удивлялись, что воспитатель такой молодой. В тридцать шестой Яков Мокеевич, высокий, плотный парень, прозванный так за сходство с одним заводским снабженцем (вообще-то его звали Володей), даже язвить стал, издеваться:

— Тебе двадцать три? А мне — двадцать шесть! Ха-ха! Ты меня на «вы» должен называть. Какой же из тебя воспитатель? В угол будешь ставить — ослушаюсь. Нотации станешь читать — уши заткну...

Лосев уходить не торопился. Яков Мокеевич задел его за живое, и он собирался доказать его неправоту. Отодвинул в сторону общую тетрадь, спрятал авторучку.

— Ошибается тот, кто думает, что воспитатель общеджития — это нечто подобное детсадовской няньке, — спокойно заговорил Лосев. — Моя обязанность, как я понимаю, — не нотации читать, а организовывать, скажем, ваш досуг. Я должен прививать культуру.

— Ну-ну... — ухмыльнулся Яков Мокеевич.

— Да-да, культуру. Скажем, чтобы привыкали сидеть не на кроватях, а на стульях.

Яков Мокеевич мгновенно вскочил с кровати, поправил простыню.

— Один — один, воспитатель, ничья... Срезал меня. Давай перевернем пластинку. Женат?

— Нет еще.

— Молоток! Я тоже вот решил пожить свободным

человеком. Хомут никуда от нашего брата не денется. Ха-ха!

Когда Яков Мокеевич смеется, трясется все его упитанное тело. «Чудаковатый, наверно, он, — подумал про него Лосев, — и больше в нем добродушия, чем ехидства».

Лосеву не хотелось уходить из тридцать шестой комнаты, он соскучился по людям. Кроме того, ему хотелось поближе узнать Якова Мокеевича.

Но, опять подумав о том, что надо обойти все комнаты, он с сожалением простился.

4

Лосев лежал с открытыми глазами. В форточку дул холодноватый сентябрьский воздух. Прямо в окно било оранжевыми лучами солнце. Дышать было легко. Лосев выпался, но вставать не торопился, нежился, подоткнув под себя одеяло, чтобы сохранить приятное тепло.

Старост он вчера избрал везде. Знакомство, можно считать, состоялось. Ребята его принимали, хотя и с ухмылками, с подначками, но в общем доброжелательно.

Жить становилось веселее.

Пока он лежал, пришла великолепная, на его взгляд, идея. Лосев ей обрадовался, как найденному самородку. В воскресенье он организует культпоход в картинную галерею. Как раз на днях он вычитал в городской газете, что открылась передвижная московская выставка.

От радости он даже подскочил на кровати. Ерохин высунул голову из-под одеяла:

- Аль сон страшный приснился?
- Это я так. В галерею, Алексей, идем!
- Когда?

— Завтра.

— А-а, я не могу — дежурство...

Больше Лосеву лежать не хотелось. Он быстро умылся, побрился, нашел лист ватмана и собственноручно написал красным карандашом крупное объявление:

«Завтра, в воскресенье, состоится культпоход в картинную галерею.

Сбор в 10 часов утра».

День опять выдался тихий и солнечный, какие бывают только в золотую пору «бабьего лета». Еще крепко держалась листва, и казалось, что на землю вновь возвращаются теплые времена.

В воздухе серебряными лучиками летала паутина.

Без пяти десять возле общежития уже сидело человек пятнадцать. Лосев вышел, и сердце его радостно вздрогнуло: культпоход наверняка удастся! Он бодро поздоровался, ему дружно ответили.

— Идем, значит? — спросил он для верности.

— Идем! — Это Павло Панов за всех ответил. Он вдобавок подмигнул воспитателю: мол, сидим вот, ждем команду, когда трогаться.

— Я сейчас остальных приглашу, минуточку подождите.

В комнаты он не заходил, а только чуть приоткрывал двери и приглашал прямо с порога:

— В галерею, ребята!

— Собираемся...

— В галерею, ребята!

— Выходим! Выходим!..

— В галерею!

— Мы уже ходили.

— С кем?

— Одни.

— Ну, как хотите.

На первом этаже — двадцать комнат. Обошел. На втором — остальные тридцать пять.

— В галерею, ребята!

— О, воспитатель, присаживайтесь в «козла», у нас четвертого не хватает. . .

— В галерею собирайтесь!

— У нас четвертого не хватает!

Братьев Дробязкиных и Малинина Лосев не уговорил. Махнул рукой — бог с ними.

Побежал дальше.

— В галерею, ребята!

В комнате — парень. Он как раз брился безопасной бритвой — одна щека в пене. Повернулся, уставился на Лосева, выпятив грудь, обтянутую синим спортивным костюмом.

— В яку галерею?

— Как — в яку? В картинную!

— А ты кто такой?

— Воспитатель. Не узнал разве?

— Кто-о?

— Во-спи-та-тель, — по слогам повторил Лосев.

— А я Бо-ри-сен-ко, — передразнив Лосева, представился парень. — Рад познакомиться.

Борисенко говорил медленно, будто ему мешал язык. Лосеву было некогда.

— Так вы пойдете?

— Ни. Мэни на тренування треба йти.

— Куда? — не понял Лосев.

— На тренування. Я класичною боротьбою займаюсь.

Лосев побежал дальше. На ходу, однако, он отметил, что этот с виду медлительный украинец может ему пригодиться. Неплохо с ним познакомиться поближе, предложить кружок организовать.

— В галерею, ребята!

— Собираемся...

Наконец пятьдесят пять комнат позади. Вспотел, — вытер платочком лоб, поправил волосы. Посмотрел на часы — десять минут одиннадцатого. Все, должно быть, уже в сборе.

Вышел... а скамейки пусты. Лосев глазам своим не поверил. Три человека только.

— Где же остальные?

— Разошлись кто — куда. Кто — в город, кто — в столовку, там сегодня пиво есть.

Недавняя радость сменилась в душе Лосева отчаянием. «Это что — заговор против меня? Тихий заговор? — Он стоял, до боли сжав зубы. — Хотя рано нос вешать. Еще многие собираются и с минуты на минуту выйдут».

— Подождем малость.

Ребята сели. Лосев напротив их. Фамилию одного парня он запомнил — Кириллов. Старостой его в сорок первой комнате избрали. Был он некрасив, передние зубы перекошены, потому, наверное, и запомнился.

Лосев успокаивал себя: все будет хорошо, культпоход состоится. Пусть не все двести жильцов поедут — на это он и не рассчитывал, — но полсотни любителей живописи наберется. Да и необязательно любителей, просто время провести — и то полезно.

Двадцать минут одиннадцатого...

Кое-кто выглядывал в дверь, но, заметив воспитателя, опасливо прятался. Некоторые делали вид, что забыли что-нибудь, и убегали.

Лосев понял: ребята хитрят. А чего хитрить? «Не хотите — насильно тащить не стану, — размышлял он. — Даже если человек двадцать наберется — не беда. В конце концов, не в количестве дело...»

Половина одиннадцатого...

Вышла дежурная тетя Наташа. Увидев Лосева, всплеснула руками:

— А вы что ж, Гений Сергеевич, не пошли в эту, как ее, галерею?

Лосев ничего не ответил. Только посмотрел на дежурную взглядом, полным укора и обиды. Разве он для себя старается? Для ребят. Чтобы культурней были, образованней, чтобы время как зря не проводили...

Трое парней по-прежнему сидели, ожидая, когда же наконец воспитатель поведет их в галерею. «Из жалости ко мне, наверное, сидят, — подумал Лосев, — обидеть не хотят. А может, и впрямь интересуются».

Лосев, чтобы успокоить себя, сказал:

— Поехали, не в количестве дело...

Если б можно было, он бы себя побил.

Культипоход сорвался. И главное, досадовал Лосев, никого не накажешь за это. Выговора не дашь, на вид не поставишь, как это было в райкоме. Попробовал бы тогда кто-нибудь из комсомольцев мероприятие сорвать...

А в общегитии с ребятами что он может сделать? Пожурить. Но ведь каждый причину найдет. А то и просто уши заткнет, как говорил Яков Мокеевич. Нет, Лосев, не туда ты попал, не туда. Агитнул тебя инструктор, а ты поддался. Мог бы отказаться, ничего бы он тебе не сделал. Разве что упрекнул бы в слабодушии. Ну, так от этого не линяют.

Бежать, бежать, бежать! Пока не влез с головой в шкуру воспитателя, из которой тебя затем позорно вытряхнут за неумение работать с молодежью. Горек мед твоей должности — не зря она полгода пустовала.

Лосев достал из шкафа чемодан. Открыл его, стал поспешно бросать в него вещи. Торопился, чтобы успеть

уйти до появления Ерохина. Рубашки, мыльницу, зубную щетку, бритву, новые брюки — все складывал как зря. Скорей, скорей! Только б незаметно выскользнуть с чемоданом из общежития! Расчет ему дадут наверняка — он докажет свою непригодность...

Еще раз заглянув в тумбочку — не забыл ли чего? — Лосев закрыл чемодан. Накинул пиджак, приподнял чемодан...

Алексей Ерохин в такой позе и застал его: одна рука просунута в рукав, другую не успел — занята была.

— Ты куда?

Лосев растерялся.

— Да я... Я... к сестре.

— А чемодан зачем? — профессиональная интуиция подсказывала Алексею, что воспитатель затеял что-то неладное.

— К сестре, Алексей... Я вернусь, — решил взять обманом Лосев. — Пропусти...

Но Ерохин не сдвинулся с места. Наоборот, он повернул ключ в дверном замке, вытащил его и положил в карман.

— Садись, — почти приказал он Лосеву. — Рассказывай, что случилось.

Лосев не подчинился.

— Не дури, Алексей, открой дверь. Ничего не случилось — перехожу к сестре жить.

— Обманываешь! Садись!

Потихоньку Лосев остывал. Спокойствие и решительность Ерохина, будто быстродействующее лекарство, возвращали его к мышлению. Неохотно отступая, он опустил наконец чемодан на пол, но тут же схватил его и небрежно засунул под кровать. Однако не сел, а только облокотился о спинку стула.

— Обидел кто? — сочувственно поинтересовался Ерохин.

— Нет-нет!

— А чего ж хмурый такой? Как, кстати, в галерею съездили?

— Плохо. Три человека всего...

Алексей вздохнул.

— Я, честным делом, предвидел, что у тебя ничего не получится. Но не стал вмешиваться — а вдруг ошибаюсь? Ты пойми: тут тебе не детсад, не школяры, а взрослые люди. К ним с другой меркой подходить надо. Они на культпоход сразу не клюнут — отвыкли ребята от культпоходов. Начинай с того, что поближе да полегче.

— Например?

— Например, взял бы у заводского спортинструктора мячи да разный инвентарь, ну, и на спортплощадку... Погода вон какая стоит. Наверняка не усидели бы ребята... Надо, чтобы они поверили, что ты что-то можешь.

Воспитатель подумал: правильно говорит Алексей. Ну, да кто знал, что так получится! Все ж ведь обещали в галерею идти, никто про мячи не заикнулся. А сам он не догадался.

— Хорошая мысль, Алексей, приходит опосля, — вспомнил он где-то услышанную поговорку.

— Это верно, — согласился Ерохин. — Только не надо бояться ошибок, не надо пасовать. Я вон, когда в райотдел пришел, на первом же дежурстве хулигана упустил. Сбежал. Попросился в туалет, когда его вел, а он — шмыг и сбежал. Было мне! Я с горячки рапорт начальнику — бац! А он прочитал бумагу и по-отцовски говорит: «Забери, а то выпорю...» — Ерохин снял сапоги, стал переодеваться в спортивный костюм. — Так что не

у тебя одного не получается все сразу. Это только у счастливыхчиков все в жизни чисто-гладко бывает.

— Что верно, то верно, — согласился Лосев. — Но у меня, наверно, никогда не получится. Уйду я...

— Вот что, Евгений, — похлопал его по плечу Ерохин, — остепенись. И давай подсаживайся к столу — пир будет. У меня как-никак нынче день рождения.

Он проворно вытащил из своей тумбочки большую бутылку марочного портвейна, сверток с колбасой и хлебом. Бутылку поставил перед Лосевым, весело сказал:

— Открывай. Да простят правила внутреннего распорядка — пить в общезитии нельзя. В виде исключения — можно.

5

Большинство ребят в общезитии — вчерашние ремесленники, воспитанники детских домов. Им по восемнадцать — двадцать лет, но в их поведении, образе жизни еще полно детства. И, как бы прощаясь с ним, они с особым удовольствием затевали в коридоре игру в чехарду, потешались над незадачливым прохожим, который нагибался за кошельком, а на самом деле он был привязан за ниточку, в последний момент под общий хохот они выдергивали его из рук прохожего. Братья Дробязкины запускать змея любили на спортплощадке за общезитием, и поглазеть выходила чуть ли не половина жильцов.

Когда кто-нибудь из ребят покупал туфли или ботинки, коробку не выбрасывали. В нее накладывали кирпичи и относили на тротуар. Редкий прохожий избегал искушения, чтобы не подфутболить коробку. Одни делали это с разбегу, другие — походя. Поэтому одни больше ушибали ногу, другие — меньше. Ребята же помирали со смеху. Осуждал их только Борисенко:

— Ну и диты! А як бы вам, хлопци, так само? Сподобалось бы?

Рассказывают, что однажды даже директор завода буцнул коробку. Но тут же запрыгал, схватился за ногу, хорошо, жена удержала, а то бы упал. Директор, однако, понимал юмор и только погрозил кому-то пальцем. А когда удалялся, слышно было, что он сам хохотал.

Ребячество Лосев ощущал в отношении к себе. Бывшие детдомовцы и ремесленники, повидавшие на своем веку множество воспитателей, привыкли видеть в них если не родителей (а многие ребята — сироты), то верных старших друзей. Как о своих родителях, им хотелось знать все о воспитателях. И любили они разговаривать с ними на равных, свободно, подчас — на грани дерзости.

Он писал на отдельном листке план работы культбытсовета. Сперва один парнишка заглянул узнать, что делает воспитатель, потом второй зашел, полистал тощую подшивку «Комсомольской правды» и тоже подсел к Лосеву. Вскоре человек десять собралось в красном уголке. На лицах — мальчишеское любопытство. Ребята Лосеву не очень мешали, но он на всякий случай предложил включить телевизор, который стоял тут же.

— Там — балет! — отрезал Колосков.

— Ну и что? Разве не интересно?

— Балет по телику — что поцелуй через платочек... Никакого ощущения!

Ребята засмеялись.

— А ты-то хоть целовался? — подзадорил Лосев.

Колосков смутился, спрятался за спину воспитателя.

— Он свою Любку так облизывает — той и умываться не надо...

Лосев хохочет со всеми, ему по душе такая веселая компания. Он пишет план красиво, старательно.

— Ну и почерк у вас!

— Еще со школы...

— Вы откуда родом?

— Смоленский.

— О! У меня там отца убили...

Минутная тишина. Кто-то чиркает спичкой.

— Здесь не курить! — предупреждает Лосев.

Тот, кто закурил, послушно выходит в коридор. Допрос продолжается.

— А вы женаты?

— Нет, а что?

— Ничего. А целовались?

— Что тут смешного? — вздернул плечами Лосев. — Было дело — в армии.

— А где вы служили?

— В Свердловске.

— О, у меня там дядька живет!

— Вы, Евгений Сергеевич, на воспитателя учились?

— Нет, откуда? Разве на воспитателей учат?

— А как же?

— А так. Предложили — согласился.

— Вы много получаете?

Этот вопрос многих смутил. Неловко стало и Лосеву. Оклад у него шестьсот девяносто рублей. Маленький. Но разве это главное? Он так и ответил:

— Разве это главное, сколько получаешь? Не в деньгах дело.

Клим Колосков протиснулся к Лосеву.

— Не согласен! Вот нас, токарей, призывают больше деталей вытачивать, значит, нас призывают больше зарабатывать. Хорошо, мы, сдельщики, стараемся. А по-временщика пойдя призови. Не тут-то было! Он скажет: какая мне выгода пуп надрывать?.. Выходит, дело в деньгах!

Ребята не верили своим глазам: во Клим дал! Посадил воспитателя в галошу, нечем ему крыть.

А Клим — руки в брюки — победителем в сторонку отошел. Это Павло Панов научил его в разных тонкостях разбираться. Павло только строит из себя наивного, а на деле он еще тот! «Правду-матку» резать умеет, все законы знает. В цехе начальство его боится. Попробуй дать ему невыгодную работу, вмиг — заявление на расчет. Набил себе цену тем, что токарь он, каких поискать.

Колосков достал расческу, медленно вонзил ее в свою курчавую шевелюру. Стал ждать ответа.

И Лосев, подумав, ответил («Тут шутить нельзя, — сказал он себе, — тут нужно серьезно»):

— Я, Клим, не против денег. Я говорю, что деньги — не главное. У человека ведь, кроме желания поесть, есть желание прожить с наибольшей пользой. А если б он делал лишь то, за что ему платят, земля была бы пуста: все блага, сотворенные человеком только для себя, умирали бы вместе с ним.

Колосков, бросив небрежно: «А-а, это все — высокая материя», вышел. Остальные ребята молчали недоуменно: кому верить? Вроде и Колосков прав, и Лосев.

Пропала непринужденность, не было уже той игры «вопрос — ответ», которая увлекла парней и которую они готовы были продолжать без конца. Воспитатель, дописывая план, еще раз предложил включить телевизор:

— Может, кончился балет...

— Да уже на боковую пора.

Опустел красный уголок. Лосев повесил на видном месте план. И все время повторял про себя на манер своего бывшего учителя географии: «Ну и ребята у меня! Ну и ребята... — И добавил от себя: — Смешные и разные».

Жизнь у Клима Колоскова сложилась не очень-то счастливо. Когда ему исполнился год, он лишился отца — пропал без вести в сорок первом. А вскоре и мать умерла. От заражения крови. Шла двенадцать километров из райцентра, куда ходила менять на хлеб свои девичьи наряды, да натерла мозоль. Не обратила на нее внимания — заживет, мол, сколько за жизнь мозолей было-перебывало! Но эта — выше пятки правой ноги — оказалась роковой. От нее заражение пошло...

За какие-то там колоски бабушку арестовали, а Клима определили в детский дом. Первое время он скучал по бабушке, но постепенно привык к многолюдью детдома. Друзей деревенских вспоминал все реже, а потом и вовсе забыл.

Потери близких и дорогих людей сказались на характере Клима. Он рос угрюмым, даже озлобленным. Учился Клим неплохо, но не слушался учителей и воспитателей. В друзьях он не нуждался и мог целыми часами бродить один вдали от детдома — в лесу, на речке, а то и просто вдоль дороги.

Педагоги недолюбливали Колоскова и, как только он окончил семилетку, направили в ремесленное училище. Попал он в группу токарей, хоть больше прельщало его слесарное дело. Внутренне протестовал, но, чувствуя свое бессилие («Вряд ли послушает меня директор училища!»), внешне смирился. А в душе все росла давняя озлобленность. Он стал мстить. Преподавателям, мастеру, воспитателю, соученикам. Мстить решил Клим по-своему — тем, что здорово учился. Токарное мастерство давалось ему легко и сразу. И он как бы бросал всем молчаливый вызов: «Ну, кто сможет лучше меня? Кто померяться хочет?»

Ребята с ним не дружили, считая его зазнайкой, и он

в них, как это было и в детдоме, тоже не особенно нуждался. Даже в баню ходил один — позже всех.

На заводе Колосков постепенно стал иначе — добрее — смотреть на людей. Он понимал, что зла ему не хотят, что пекутся о нем, помогают, чем могут. Тот же Павло Панов, узнав, что Клима поставили на ДИП-300, станок тяжелый, требующий от токаря силенки, прибежал к начальнику механического цеха (сам он в инструментальном работал). Прибежал, возмутился: «Колосков-то ведь какой? Ветер сдует. Что он заработает на ДИПе-300?» — «Резонно», — сказал начальник и велел перевести новичка на меньший станок.

Павло и Сеня Стариков, к которым поселили Колоскова, привязались к парнишке, куда сами — туда и его тянут. На футбол ли, к девчатам ли в общежитие — с ним. И он охотно общался со своими новыми товарищами, охотней, чем с ровесниками (Павло и Сеня были на пять лет старше Клим). Нравились ему в них и жизненный опыт, и образование (Сеня в вечернем институте даже одно время учился), и легкое отношение к деньгам — они их не жалели. Они могли выпить вволю; угостить кого угодно; могли безвозвратно дать на водку первому попавшему парню — только попроси. Благо, ребята получали неплохо.

Клим в первое время пил только вино. Пива он не терпел, а водки страшился. Но как-то раз попробовал «московской». Горло обожгло, но тут Павло сунул Климу стакан холодного томатного соку. Ничего! Оказывается, не так уж страшен черт, как его малюют! Колосков и в другой раз попробовал, и в третий. А в четвертый уже вино не покупали — только водку.

Им это стало нравиться — после работы брать на троих бутылочку. Не хватало одной, Клим бежал за второй. Он пил меньше друзей, но хмелел раньше их. «Клим

у нас еще любитель, — шутил Панов, — а мы профессионалы».

Присматриваясь к этой троице, Лосев про себя уже не раз повторял: «Что-то надо делать... Что-то надо делать...» Но что — он пока не придумал.

Решил поговорить по душам с Пановым и Стариковым. Клим он попросил на минуточку выйти из комнаты, потому что речь главным образом должна была идти о нем — сопьется парень, если вовремя не остановить. Лосев готовился к разговору трудному и долгому, но все получилось до обидного просто и коротко.

— Я, ребята, вот по какому делу, — начал воспитатель, но Павло тут же прервал его:

— Знаем, знаем. Сеня, Евгений Сергеевич тревожится о Колоскове. Твои соображения?

— Больше не будем.

— Слыхали? Больше пить с Климом не будем, — Панов положил ладонь на стол, тем самым подчеркивая, что разговор окончен. — Кстати, Евгений Сергеевич, а если бы мы на частной жили, вы бы тоже пришли воспитывать?

— Нет, Павло, не пришел бы. На частной квартире живите, как хотите. Но здесь — обще-жи-ти-е. Здесь, если мы потеряем человека, с нас спрос особый. Со всех: с тебя, с Сени, с меня — со всех. И мы не имеем права.

— Не имеем! Не имеем! — опять перебил Панов. — Договорились: Колоскова будем беречь. Точка! — И хлопнул по столу другой ладонью: отстаньте, мол, наконец, товарищ воспитатель, разговор, считайте, состоялся.

Лосев понял. Уходя, на всякий случай предупредил:

— Если выпивки будут продолжаться, в первую очередь не поздоровится вам. Учтите.

— Учтем, — ответил Панов. — Обязательно учтем, ха-ха!

Лосеву позвонил секретарь заводского парткома Белых. Долго расспрашивал, как дела идут, что нового в общежитии, нет ли каких ЧП.

— Слыхал, вы там актив сколотили?

У Лосева вспыхнули уши: он испугался, что Белых спросит про галерею. А ну, как он знает правду да начнет поучать и воспитывать! Горше всего, если подумает о нем как о незадачливом мальчишке. А что с мальчишки возьмешь? Подсунул, мол, нам пилюлю райком, теперь проглатывай ее.

— Культбытсовет избрали, старост, — ответил Лосев секретарю парткома. — Помаленьку раскачиваемся.

Но Белых, видимо, вовсе не думал воспитывать Лосева.

— Ну, ну! — одобрительно сказал он. — Действуйте в том же духе. Пока мы вами довольны. И жильцы тоже... Если какая помощь потребуется — заходите.

— Спасибо, спасибо...

Под конец Белых сказал:

— Я, собственно, товарищ Лосев, вот по какому делу. Думаем к зиме открыть спортзал. Но строители просят помочь им — иначе не успеют. Как вы смотрите, если общежитскую молодежь попросим, воскресник организуем?

— Что ж, можно.

— Беретесь?

— Если поручите — не смею отказаться! — по-солдатски отчеканил Лосев. Он уже чувствовал себя уверенней.

— Вот и хорошо!

Мастер строителей, выдав носилки, лопаты, рукавицы, кротко вымолвил:

— Ну, ребята, вся надежда на вас.

Предстояло очистить спортзал и территорию вокруг него от мусора, перенести на новое место и аккуратно сложить несколько штабелей кирпича. Лосев вздохнул: работы до черта.

Он посчитал: на воскресник вышло шестнадцать человек. Вместе с ним. Если они без отдыха будут работать целые сутки, то и тогда вряд ли справятся. Правда, обещали подойти два парня из тридцать шестой комнаты, где Яков Мокеевич живет, — Жилин и Клепин, но только после того, как закончат домашние задания — они в вечерней школе учатся. Должен быть и Алексей Ерохин, но, видимо, задержался на дежурстве — у милиции по выходным дням, как правило, работы прибавляется.

Конечно, народу маловато. Кто отказался, ссылаясь на то, что не занимается спортом и не любит его, кто для отвода глаз пообещал прийти, но не пришел, кто срочно придумал себе какие-нибудь занятия. «Сколько придет — столько и будет, — успокаивал себя Лосев, — каждого на веревочке тянуть не буду, никого уговаривать не стану».

Подошли Жилин с Клепиным — стало восемнадцать человек.

— Вот носилки, приступайте, — распорядился Лосев, сгребая лопатой битый кирпич, комья затвердевшего раствора, обломки досок. В спортзале тотчас поднялась пыль, вскоре она стала похрустывать на зубах, и ребята то и дело сплевывали.

— Дышать через нос! — весело подмигнул ребятам мастер строителей. — Респираторов не будет.

Панову с Колосковым Лосев старался на носилки насыпать поменьше — все-таки силы у них неравны. Павло, однако, не соглашался:

— Никаких скидок! Не смотрите, Евгений Сергеевич, что Клим на вид хилый — он, если разозлится, быка подымет.

Лосев стал накладывать им чуть побольше.

— Мы не только пить, Евгений Сергеевич, умеем, но и работать, — хвастливо заявил Панов и легко, играючи, приподнял носилки на полусогнутых жилистых руках.

Стариков носил с Мишкой Кирилловым. Они за кирпичи принялись. Каждый кирпич каменщик Кириллов укладывал бережно, будто они были стеклянные.

— Да чего ты чикаешься с ними? — не вытерпел Стариков. — Так мы будем таскать до второго пришествия. — И принялся бросать кирпичи как попало. Мишка отстранил его:

— Н-не надо, я сам... Т-ты п-покури...

— Нашел, что беречь, — не уходя, ворчал Стариков. — В других местах тыщи на ветер летят. А ты какие-то кирпичи жалеешь. — Сеня ворчал, но работать стал осторожней.

Толик Борисенко, борец-классик, нашел где-то ящик и один таскал в нем мусор. Старался парень всю — аж пот выступил на его сильной натренированной шее. Он ответственный в культбытсовете за спортивный сектор, как никто, пожалуй, мечтал о спортзале, где можно было бы по-настоящему организовать занятия в его кружке. Сейчас их в одну из комнат клуба пускают, но это не дело — тесно там, низко, воздуха мало, вместо ковра — обыкновенная дорожка.

Лосев наконец махнул рукой на свое самолюбие — маловато все-таки ребят, не успеть за день. Надо что-то предпринимать.

— Толя, сбегай в общежитие, пройдишь по комнатам.

— Та нэ трэба, товарищ выховатэль, сами справы-мось.

— Справиться-то справимся, но ребят жалко — устанут.

— Хиба що замість відпочынку — тоді сходжу,

Толик нехотя оставил свой ящик, предварительно насыпав его до краев — чтобы никто не унес, и поспешил в общежитие.

Остальные продолжали работать. Очищали в первую очередь главный зал. Пыль донимала, теперь она не только похрустывала на зубах, но и пробиралась под рубахи, отчего неприятно чесалось потное тело.

Воспитателю стало жарко. Скинул рубашку, остался в майке. Прошлым летом он не успел загореть, а поэтому был бел, как сметана. Сразу же начались подначки:

— Где загорали, товарищ Лосев?

— Нигде. А что?

— Мы тоже туда поедem. Ха-а...

— Пробрало воспитателя — разделся.

— Есть малость...

— Сразу видно, что физически не работает.

— И это верно.

Лосев еле успевал насыпать на носилки. На одних, на другие, на третьи... работал без отдыха и перекура. Глядя на него, старались и остальные. Он чувствовал, что если остановиться, расслабиться, потом уже трудно будет войти в прежний азарт работы.

И тут его окликнули. Овернулся: Панов, Стариков, Колосков.

— Мы выполнили свой долг, пускай теперь другие поищачат, — отпраповтовал за всех троих Панов. — Изволим идти обедать. — И с улыбочкой раскланялся, как артист на сцене.

— Ну что вы! Смотрите, еще сколько работы.

— Нет, довольно! У нас режим, — поклонился ниже прежнего Панов.

Тогда Лосев сухо сказал:

— Что ж, если вы лучше других, если перетрудились, — идите... Отдыхайте...

Он думал, что после этих слов Панов, Стариков и Колосков снова возьмутся за дело. Но ребята поняли воспитателя буквально — иначе и не хотели понимать — и молча удалились.

А время действительно уже приближалось к обеду. На улице распогоживалось. Даже солнце выглянуло. Его лучи в пыльном воздухе спортзала были как бы осязаемы. Казалось, их тоже можно, как те доски, что ненужно прислонены к стенке, взять и вынести на улицу. Стоит лишь подставить плечо.

Ребята заметно притомились. Чаше стали покуривать.

Вернулся Борисенко. Поймав вопросительный взгляд воспитателя и отдышавшись, сказал:

— Зараз чоловик сорок будэ...

Сказал и направился к своему ящику.

И впрямь через несколько минут повалил на подмогу общежитский народ. Пришли и те, кто якобы спорт не любили и кто на занятость ссылались. «Молодец-таки Борисенко! — отметил Лосев. — На вид инертный и нелюдимый, а сумел парней уговорить».

Веселей стало на душе у воспитателя. Незаметно, как бы между прочим, он спросил у Толика:

— Как ты их агитнул?

Борисенко улыбнулся:

— А так. Кажу: «Вас выховатэль запрашував?» — «Запрашував». — «Так якогo ж биса сыдытэ?» Вони и выйшлы.

Вот, оказывается, как все просто! Лосеву аж обидно стало. Выходит, его слова — не указ. Выходит, еще и дополнительный толкач нужен.

«Впрочем, — Лосев сморщил лоб — он всегда морщил лоб в трудные минуты, — впрочем, все правильно. Подчас слово товарищей убедительней слова начальника. Не

зря инструктор райкома советовал мне опираться на актив».

Воскресник разгорелся с новой силой. Те, что явились с самого утра, передали носилки новеньким и занялись работой полегче — сгребали мусор, вытаскивали доски, подметали. Толик Борисенко никому не уступил свой ящик. Он по-прежнему просил насыпать до краев, взваливал на плечо, издавая короткое «у-у-ах», и тащил ящик мусора метров за пятьдесят от спортзала.

Уже не хватало лопат, носилок. Пошли в ход ломики, лежавшие до сего времени в стороне, — ими выковыривали из земли обломки кирпичей. У Лосева кто-то перехватил лопату, его отстранили:

— Отдохните-ка!

Он послушно сделал шаг в сторону, вытер пот солба и пошел разыскивать по многочисленным закоулкам спортзала разный подсобный инструмент.

8

Лосев советовался с председателем культбытсовета Яковом Мокеевичем:

— Думаю дневник чистоты завести. Как ты на это смотришь?

Яков Мокеевич долго расчесывал пятерней чуб, щупил левый глаз, не торопясь с ответом.

— Понимаешь, Евгений, детская игра это. Лучше давай старост предупредим, чтоб за порядком следили — и все. У кого грязь — будет штраф.

— Какой?

Яков Мокеевич мгновенно нашелся:

— Пол-литра!

— Ну, ты без шуток не можешь... Я тебя серьезно спрашиваю.

— Если серьезно, то давай попробуем. Только, помню, когда у нас в ремеслухе заводили подобный дневник, ничего не получилось — мы то и дело срывали его. Как бы и тут...

Воспитатель категорически покачал головой:

— Пусть кто попробует сорвать! Впрочем, у нас народ взрослый, на это не пойдет.

К затее Лосева жильцы отнеслись равнодушно, а комендант Анна Ивановна Галкина — скептически. Она удивилась:

— Каждый день обходить пятьдесят пять комнат? Да кто ж согласится?

— Это я беру на себя, — ответил Лосев.

— Ну, смотрите. Только зачем вам эта канитель?

Но Лосев был упрям и стоял на своем. Его раздражала неряшливость многих ребят. Постели они заправляли кое-как, будто временно жили здесь. Его раздражали окурки на полу и хлебные крошки на столе. Чемоданы полагалось держать в камере хранения, но у большинства ребят они стояли под кроватями.

С этим воспитатель решил кончать. Чемоданы он прикажет сдать — тут особой мороки нет. С остальным бороться труднее. Но Лосев был убежден в успехе.

В первый день преобладали «тройки» и «двойки». Выставляя оценки, он был объективен и строг. Ребята, идя с работы, обязательно останавливались у дневника чистоты, но особого действия он на них не имел. Многие хихикали:

— Забавляется воспитатель...

И на второй, и на третий день положение не изменилось. В дневнике лишь кое-где краснели «четверки» — «пятерок» пока не было. Вертикальные колонки рябили цифрами более низкими, выписанными черным карандашом.

А утром четвертого дня Лосев, спускаясь со второго этажа в умывальник, дневника не обнаружил. «Сорвали... Прав, выходит, был Яков Мокеевич...» Он умылся кое-как и, вернувшись в комнату, долго стоял у окна с полотенцем на плече, глядел на улицу, но никого и ничего не замечал. «Эх, бросить бы все к чертям и уехать. Зря я тогда поддался Ерохину, нужно было действовать решительней. Уже, смотришь, в другом бы месте освоился».

Ребята, конечно, начнут посмеиваться: «Не вышло с дневником у Лосева. Что-то он еще придумает?»

Но самое неприятное, что по-своему отнесется к этому Галкина. Она не упустит момент посплетничать в жилотделе:

— Советовала ведь ему не канителиться, нет, он на своем стоит. Вот так и без конца будут дневник срывать, разве на нашу шпану управу найдешь. На них милиционер нужен, а не воспитатель.

Она не любит ребят — он это уже знал. Всех считает потенциальными преступниками. Про Лосева же говорит, что попал он сюда не по назначению и не сегодня-завтра сбежит.

Но в нем вдруг снова взыграло самолюбие. Он быстро оделся, сбегал в красный уголок за ватманом и принялся чертить новый дневник. Он старался сделать его похожим на прежний, чтобы Галкина ничего не заметила.

Лосев торопился. Дневник надо повесить до прихода Галкиной. Благо, все оценки есть в записной книжке.

А как удивится тот, кто сорвал дневник! Нет, Лосев не отступит от своей затеи, пусть даже срывают дневник ежедневно. В конце концов неизвестный проказник поймет бесполезность своих выходов. Ну, а если Лосеву удастся найти виновника, ему несдобровать.

Он успел. Анна Ивановна зашла, когда Лосев при­ка­лывал дневник:

— Сорвали, что ль?

Лосев, стараясь быть поспокойнее, ответил:

— Нет, кнопка отскочила.

— А я, грешным делом, хуже подумала. От наших всего можно ожидать...

— Ну зачем так о ребятах?

— О-о! Вы их еще не знаете! Кто вчера в столовой драку затеял? Наши! Ларек обворовал кто? Опять наши!

Лосев недоумевал: как можно так ненавидеть жиль­цов, но годами работать среди них?

— Ларек — это год назад было. Зачем старое вспо­минать? А во вчерашней драке наши не участвовали, они, наоборот, разнимали. Мне Ерохин рассказывал.

Но Галкина не сдалась:

— Все равно хороши. — И направилась в свой каби­нет, тяжело ступая по коридору, так что доски поскри­пывали.

Теперь каждое утро воспитатель просыпался с трево­гой: цел ли дневник? И, увидев белый прямоугольник дневника на месте, запаса­лся хорошим настроением на целый день.

Потихоньку ощущались сдвиги. Больше стало появ­ляться красных оценок, хотя Лосев по-прежнему приди­рался к каждой мелочи. Внешне оставаясь равнодушны­ми, на самом деле ребята старательней заправляли по­стели. Иногда даже обижались:

— Старались, старались, а вы, Евгений Сергеевич, опять «тройку»...

— А окурки у двери?

— Так у нас пепельницы нету — не в форточку ж их выбрасывать. Уж сколько Галкиной говорили — и все без толку.

Лосев проверил: ребята были правы. Он — к коменданту.

— Анна Ивановна, в половине комнат нет пепельниц.

— А куда ж они девались?

Лосев пожал плечами.

— Не знаю. Наверно, того... разбились.

— Ага, «разбились». А кто платить за них будет? Вы? Я?

— Списать. Давно ведь, говорят, их приобретали.

Анна Ивановна глубоко вздохнула:

— Ой и настырный вы, Евгений Сергеевич! Списать-то можно, а сколько мороки, сколько беготни! Может, обязать, у кого нет, приобрести пепельницы?

— Зачем же обязывать, если положено?

— Ох, Евгений Сергеевич...

— Ладно, я сам все оформлю — и списание, и получение.

Лосев понял, что для Галкиной каждый лишний шаг — пытка. Ее главная забота — вовремя заменить постельное белье, остальное, как он понял, Анну Ивановну не интересовало. В комнаты она не заглядывала, а потому уборщицы выполняли свои обязанности кое-как. Пол освежат — и дело с концом. Графины помыть, окна протереть — это их вроде бы и не касалось.

Однажды он пожаловался Галкиной на уборщицу. Анна Ивановна сначала вспылила:

— А вы хотите, чтобы они за пятьсот рублей общежитие языками вылизывали?

— Языками — зачем? Руками... Давайте посмотрим на их работу.

— Что смотреть? — не утихомиривалась Анна Ивановна. — Сама знаю. Я здесь одиннадцатый год, и все были довольны уборкой.

Пошумела, но уборщиц, видимо, предупредила. Лосев заметил, что в комнатах стало чище, а графины были так промыты, что излучали свет. «Совсем другое дело!» — радовался он.

Лосев получил на складе целую наволочку пепельниц, заодно выписал шахматы и шашки для красного уголка. Уговорил заместителя директора завода приобрести для общежития новый телевизор, оборудовать комнату для занятий настенными светильниками.

Каждое утро он по-прежнему выставлял оценки. И радовался каждой «пятерке» в дневнике чистоты — а их становилось все больше.

9

Приближались Октябрьские праздники. Улицы оделись в транспаранты, флаги, цепочки лампочек повисли на столбах радужными полукругами. Старались дворники, убирая каждую соринку на асфальте.

Принарядилось и общежитие. Были заменены шторы, на столах в красном уголке появились новые легкие скатерти. Даже плафоны в коридоре Галкина заставила вытереть. Раньше до них, как правило, руки не доходили.

Лосев корпел над праздничной газетой. Как это он забыл про редколлегию, когда культбытсовет избирали! Теперь кусал локоток, злился на себя, но газету любимыми судьбами решил выпустить.

Передовицу написал сам, заметки собрал со скрипом. А с председателем культбытсовета Яковом Мокеевичем, который, казалось бы, должен заботиться о стенгазете не меньше Лосева, воспитатель чуть не поссорился. Просил его как человека:

— Напиши... как за чистоту в комнате боролись... Ты ж староста ко всему.

А Яков Мокеевич юлил:

— Понимаешь, некогда, нашему литейному сегодня в ДНД дежурить. Пусть из соседей кто-нибудь, а то мы да мы — и на Новый год, и на Май, и на Октябрьскую... К тому ж не лучшие мы.

— Не скромничай! У вас больше всех «пятерок».

— Но и «двойка» есть.

— Это случайно. А так вы молодцы. Вот и расскажи, как вы боретесь за коммунистический быт.

— Ну и хитер! — усмехнулся Яков Мокеевич.

Налил воды из граненого графина, медленно выпил, поставил стакан на место и уже серьезно спросил:

— Слушай, Лосев, и охота тебе ерундой заниматься? Воспитателя передернуло, он поперхнулся.

— Как-кой?

— А такой. Заметки вот кланчить охота?

— Ты что говоришь? — вскипел Лосев. — Ты выбирай выражения! Это моя работа, а не ерунда. И я люблю ее не меньше, чем ты свое литейное дело. Иначе я б и дня не сидел здесь. Ерунда! — Лосев направился к выходу.

— Подожди! — остановил его Яков Мокеевич. — Не злись — надо шутки понимать.

— Хороши шутки!

— Напишу заметку! Вернее, Жилин напишет, корреспондент наш — он в многотиражке печатается...

Материал для стенгазеты Лосев с горем пополам собрал. Осталось два дела — переписать заметки на лист ватмана и художественно оформить газету. Переписать он попросил Ерохина — у него почерк красивый.

А где взять художника? У Галкиной поинтересовался, кто из ребят рисует, она, подумав, ответила:

— Не знаю, чем вам помочь. Микешина спросите — он всегда голых женщин рисует и над кроватью вешает. Наши разве на хорошее дело способны?

— Это который Микешин?

— Из тридцать шестой, дружок Якова Мокеевича.

Яков Мокеевич, когда зашел Лосев, курил в потолок. Дружок его пиликал на гармошке, которую недавно выспорил — съел десять порций пельменей. Гармошка была старая, материя на мехах облезла, висела ключьями на ребрах, как шкура исхудавшей за зиму козы. Микешин сам себе тихонько подпевал:

У-у попа была соба-ака,
О-он ее люби-ил. . .

Сидя спиной к двери, он подбирал музыку.

Лосев с трудом удержался от смеха. Подошел к Микешину, тронул его за плечо. Тот от неожиданности уронил руку с басов.

— Ты... Вы что?

— Хорошо играешь...

— Смеетесь?

— Зачем же? Слушай, ты — «круглый» талант, — заискивающе начал Лосев. — Ты, говорят, еще и рисуешь здорово. Надо стенгазету оформить.

Микешин опешил.

— Кто говорит?

— Все, — пошел напролом воспитатель. — Вон и Яков Мокеевич говорит. — Лосев был убежден, что Яков Мокеевич его поддержит. А он больше помешал, чем помог:

— Да, да, он еще и поет, и пельмени здорово ест!

— Не зубоскаль, Яков Мокеевич, — сказал Микешин и обратился к Лосеву: — Не умею, правда. Кто вам сказал?

— Галкина.

— А-а, комендант! Жаловалась? Так я этих натурщиц с одной книги через копирку перевожу. А она ругается и обзывает меня этим... Арфаэлем.

— Ты, Сеня, умеешь рисовать?

Сеня укладывался спать, но показал на сидевшего за столом подвыпившего Панова:

— Он.

Панов, тщетно пытаясь прикурить — рука со спичкой ходила туда-сюда, — пропел:

— Что нам стоит дом построить? Нарисуем — будем жить.

Лосев понял: тут ему делать нечего.

Так ни с чем и вернулся в свою комнату. Ерохин уже заканчивал переписывать заметки.

«Если общежитие останется без стенгазеты — грош мне цена, — размышлял Лосев. — Завтра, накануне праздника, она должна быть вывешена. Но где взять художника? Не верю, чтобы среди ребят не было художников! Просто никто не хочет показать себя: одни из-за скромности, другие — просто так».

Алексей, кончив свое дело, лег спать и через минуту уже тихонько похрапывал.

«Утро вечера мудренее», — вспомнил Лосев старую пословицу и лег следом. До утра ворочался, но по-настоящему так и не уснул. Еле дожид до утра. Встал невыспавшийся и усталый. Зато утро и впрямь оказалось мудренее вечера.

Мишка Кириллов был некрасив: лицо узловатое, впалые глаза еле поблескивали под нависшими серо-рыжими бровями. Он редко улыбался, боясь показать свои выщербленные зубы.

Кириллов был тих и неразговорчив. Работал он не на самом заводе, а каменщиком в жилотделе. В общезнании его мало знали или принимали за новичка. Лосев, правда, его запомнил — он был одним из трех, кто в галерею с ним ездил, — но считал Мишку личностью заурядной и потому никогда ни с чем к нему не обращался.

Работа Мишке не нравилась. Когда-то он мечтал стать шофером и уже хотел было подать заявление в автошколу, но немилосердные врачи, заметив у него какие-то неполадки со зрением, как шлагбаумом, перекрыли мечте дорогу одним росчерком пера: «Не годен». . . И вот теперь единственной отрадой в его жизни стало рисование. Тягу к краскам Кириллов почувствовал еще в детстве. Учителя пророчили ему большое будущее, но тогда победила тяга к автомобилю. И уж коли рисовал Мишка, то обязательно автомобиль и себя в нем.

Однажды попалась ему книжка о голландском живописце Ван-Гоге, человеке тягостной судьбы, удивительной доброты, так и не признанном при жизни. И взбунтовалась Мишкина душа: «Попробую, Ван-Гог упорством брал, а его мне не занимать. . .»

Всю ночь писал каменщика. Вернее, делал наброски. Ни один из них не удовлетворил Мишку, получалось плакатно, сухо: в правой руке рабочий держал мастерок, в левой — кирпич. На лице — неестественная довольная улыбка.

Его не брал сон: видно, жажда выразить себя, излить душу была сильнее сна.

И лишь под утро он нашел вариант, который его удовлетворил. Краски на холст ложились легко и точно, через час он кончил писать.

Утром Мишка зазвал в свою комнату Лосева — кому

же еще показать? Он — старший, он сумеет оценить его способности!

— Вот-вот... П-посмотрите, — сказал он. — Как, а?

И показал свой холст. На нем был изображен каменщик в спецовке, в поношенной ушанке. Он шагал вдоль строящейся улицы, усталый, засунув мастерок за голенище сапога. Был он похож на Мишку: мазки на лице грубые, глаз почти не видно.

— Твоя, что ль? — разглядывая картину, спросил воспитатель.

— Моя...

— Ничего... А я-то думал, кого бы мне в редколлегияю включить, кто б стенгазету доделал? А тут, как говорится, на ловца и зверь...

— Какой зверь? — Мишка не расслышал последнюю фразу.

— Пословица такая... Поговорка. А в общем, ты молодец, Кириллов! — Воспитатель одобительно хлопнул Мишку по плечу и быстро вышел из комнаты.

Мишка остался наедине со своим каменщиком.

«Зверь... При чем тут зверь? Я ему картину, а он... зверь...»

Пока он недоумевал, Лосев сбегал за стенгазетой и снова спешил к нему, самому нужному сейчас человеку в общежитии.

Каждый день у Лосева прибавлялось забот. Работа втягивала его как сильный насос воду. Он не мог остановить ее, будто тележку, пущенную под гору. И что бы он ни делал, все казалось ему значительным и нужным. А если Лосев считал дело нужным для других, то находил в нем удовлетворение и для себя.

Вот мелочь, казалось бы: пепельницы. А ведь радовался он им, будто ему самому что-то подарили.

Когда добился, чтобы комнату для занятий оборудовали светильниками и новой мебелью, тоже радовался, словно это была его комната и ему в ней готовиться к урокам.

Или взять лекцию начальника райотдела милиции, организованную не без помощи Алексея Ерохина. Тут народ сзывать не пришлось. Красный уголок всех не вместил — многие стояли в коридоре. Лосев был доволен.

Иногда он работал за Галкину. Знал это, но не ныл и не жаловался. Понимал: хорошему коменданту нужно вкалывать, а куда ей с ее комплекцией! Добро хоть с уборщиц стала спрашивать. Пусть уж тянет до пенсии — полтора года осталось. А он, так и быть, это время за двоих поработает.

Уже три месяца он в общежитии. Сам привык и к нему привыкли. Но Лосев вовсе не считал, что все идет чисто-гладко, хоть его и похвалили на последнем партийном собрании. Чем сильнее он старался, тем больше оказывалось несделанного. Почти от всех комнат добился «четверок» и «пятерок» по чистоте, но чувствовал, что до самого главного еще не дошел, но должен дойти обязательно. Какая-нибудь мелочь — скажем, прогулы Аркадия Малинина — выводила Лосева из себя, и он перечеркивал все хорошее, что сделал. Впрочем, мелочь ли это — прогул? Может, это и есть самое главное — заставить Малинина работать добросовестно и без прогулов.

Вот снова звонил мастер механического цеха:

— Воспитатель! Что там с Аркадием? Опять не вышел, а у нас конец месяца, каждый токарь на вес золота. Тормозит Лосев Малинина.

— Вставай! Ты почему не на работе?

Малинин с трудом открывает один глаз, бормочет, натягивая сползшее одеяло:

— Мне во вторую смену...

— Обманываешь, ты на той неделе был во вторую!

— Ей-бо, правду говорю.

— А почему мастер спрашивает, где ты? Да хоть глаза открой!

Аркадий силится открыть второй глаз, но у него ничего не получается — смотрит, как кот, одним глазом.

— А ну их! — повернулся он со спины на бок. — Работы неколымная, только наишачишься, лучше посплю...

— Так что мастеру сказать?

— Что хотите. Скажите — дома нету.

— Зачем же так?

— Скажите — заболел.

— Врать я не буду.

— Ну тогда донесите, — подвел черту Малинин и укрылся одеялом с головой.

Малинин в общежитие прибыл из трудколони, куда попал за воровство. Обучили его там профессии токаря, но токарь из него вышел неважный, а потому пользы в смене от Малинина — как от козла молока. Он особенно не переутомлялся и частенько прогуливал. Мастер не раз писал рапорты, начальник цеха тоже был за его увольнение, но им говорили: нельзя парня выбрасывать за борт, воспитывайте! Три года воспитывали уговорами, предупреждениями, товарищеским судом. Не помогло. Ничего он не боялся, никого не признавал.

Лосев тоже решил попытать счастья. Вечером он созвал редколлегию.

— Срочно, — сказал, — нужно выпустить сатирический листок.

— На кого? — поинтересовался Кириллов.

— На Малинина. Опять прогулял. Захожу — спит. Говорит: работа неколымная, только наишачишься.

Члены редколлегии молчали.

— Вряд ли поможет, — после паузы усомнился Кириллов.

— Поможет — не поможет, а мимо этого факта проходить нельзя. Тем более что Малинин — староста комнаты. Завтра, чего доброго, на него глядя, и братья Дробязкины на работу не выйдут.

Через полчаса карикатура была готова. «Кириллов рисует все-таки здорово», — отметил Лосев. Малинин даже похожим получился: та же лисья мордочка, выглядывающая из-под одеяла, тот же рыжий клочок волос.

Жилин подпись придумал:

Что работать должен каждый —
Всем известно с давних пор.
А прогульщику Малинину —
Позор! Позор! Позор!

— Немного переход шероховат, — сказал Лосев, — а в общем сойдет.

Он повесил карикатуру и отошел в сторонку, чтобы понаблюдать, как ребята будут реагировать.

— Опять Малина попался!

— А кто это у нас поэт? Не ты, Панов?

— Павло?! Да он только на туалетных дверях может...

Шум. Смех. Лосев доволен.

Кто-то позвал Малинина. Заспанный — целый день провалялся! — он стоял, ничего не соображая. Сообразив, сделал было попытку сорвать карикатуру. Ему не дали.

— Ты что, критику не воспринимаешь?

— Малина гордиться должен! У нас на заводе только передовиков рисуют да тебя. Ха-ха!

Малинин, заткнув уши и сделав вид, что ему все равно, ушел в свою комнату.

Наутро Лосев полюбопытствовал, где Аркадий. Чуть приоткрыл дверь. Постель Малинина была запроважена, но его самого не оказалось.

— Где? — кивнул Лосев на кровать Аркадия.

Братья Дробязкины завтракали.

— Ушел.

— Куда?

— Не сказал. Пропуск взял...

«Значит, на работу, — обрадовался Лосев. — Помогла критика». И он с облегчением снял карикатуру.

Целый день Лосев пребывал в хорошем настроении. А вечером узнал от Ерохина, что Аркадий Малинин задержан на городском рынке вместе с другими картежниками и за оскорбление работника милиции посажен на пятнадцать суток. Руки у воспитателя сразу опустились. Он даже ужинать не пошел.

«Самое страшное, — с болью рассуждал Лосев, — что и Малинин; и некоторые другие жильцы считают меня здесь временным — это я кожей чувствую по взглядам и намекам. А потому на меня, как и на всякого временного, — ноль внимания. Появится, дескать, у воспитателя должность посолидней да поденежней — и поминай как звали!»

Утешало Лосева только одно: ему-то самому было известно, что он не из таких.

Когда в заводском клубе шли танцы, общежитие вымирало. Лосев заглянул в красный уголок — там было пусто, хотя телевизор и работал. Показывали фильм про шпионов. Один из героев орудовал у сейфа, переснимая

документы, другой в это время развлекался в ресторане с девочками.

Лосев такие фильмы терпеть не мог и выключил телевизор. «Пойду, — решил он, — в клуб. Надо потихоньку на люди показываться, а то я в своем общежитии совсем засохну».

На улице подмораживало. Падал медленный редкий снежок. После осенних дождей и туманов морозный декабрь казался желанным месяцем.

У входа в клуб стояли парни, разгоряченные только что окончившимся танцем. Они сошлись в небольшой круг, в середине которого кто-то пьяно матерился.

Подойдя ближе, Лосев узнал Клима Колоскова. Он был без пиджака, один рукав рубашки закатан выше другого. Клима уговаривал Сеня Стариков:

— Не связывайся ты с ней!.. — При этом он удерживал не очень ладно скроенного Климá сильной ручищей. — Не связывайся. ..

Колосков вырывался и скрипел зубами:

— Пусть только пойдет с кем танцевать — ударю.

Лосев решил не ввязываться — пусть ребята сами разберутся. Обидно было, что он вновь видел Колоскова пьяным. В последнее время Клим притих, не выпивал, записался в кружок борцов к Борисенко, участвовал в первенстве общежития по шахматам. И вот снова сорвался. ..

Лосев прошел в зал. Тут стоял ровный гул. Он заметил на себе несколько взглядов. Главным образом — девичьих. Порозовел, вытащил платочек, вытер лоб, щеки, чтобы скрыть смущение.

Эстрадники после перерыва занимали свои места. Долго листали на пюпитрах нотные тетради.

Заиграли танго. На эстраду вышла с микрофончиком, похожим на детскую погремушку, раскрашенная,

подстриженная под мальчишку девица. Закрыв глаза и явно подражая Эдите Пьехе, она запела:

Хочешь, я тебе спою?
Слушай,
Если трону я твою душу.
Душу.

Зал сразу ожил. Лица, лица, лица, в которые Лосев не успевал вглядываться. Он давно не танцевал и теперь стоял в нерешительности: «Аль отважиться? Не совсем ведь я разучился».

В дальнем углу, у самой эстрады, он заметил девушку, подругу которой только что пригласили. Невысокая, коротко подстриженная, она казалась ему подростком. «А может, она и есть подросток? Не зря ведь ее никто не пригласил», — рассуждал Лосев.

Но было уже поздно — он ровным солдатским шагом направлялся к ней.

— Разрешите?

Девушка вздрогнула и опустила глаза, не отказываясь и не соглашаясь. «Влип! — подумал Лосев. — Надо было получше приглядеться. А эта... может, и танцевать не умеет... С каким видом пойду через весь зал обратно?»

Но девушка вдруг протянула руку. Лосев на мгновение растерялся, но тут же подал ей свою.

Он ощущал запах ее волос. У Лосева в армии была девчонка — Инной звали, — так у нее волосы всегда пахли духами. А у этой — июньским лугом.

Танцевала она легко, невесомо. Непонятно, как угадывала каждое, даже неточное движение Лосева?

— Как вас зовут?

Это у него сорвалось. Он ничего не хотел спрашивать. Он вообще туго сходил с девушками. Знакомясь, обычно не знал, о чем с ними говорить. «Конечно, она поду-

мает, что я из тех, кто идет в наступление сразу». На лбу его выступил пот.

Но девушка, грустно глядя в сторону, тихо ответила:

— Люба...

Оркестр и певица смолкли, а Лосев с Любой по инерции сделали еще несколько шагов.

Едва воспитатель вернулся на свое прежнее место у входа, к нему пробрался Колосков.

— Воспитатель, предупреждаю: еще раз пойдешь с ней — обоим попадет...

И, покачиваясь, отошел в сторону.

Эти слова не понравились Лосеву.

Он вышел в фойе и наткнулся на Якова Мокеевича, который танцевать не умел, но на танцах бывал частенько.

— Ты что нос повесил? — спросил Яков Мокеевич.

— Откуда ты взял? — Воспитатель силился улыбнуться, но улыбка не получилась.

— Не притворяйся. Влюбился? В кого?

— Чудак! Все в норме... Слушай, ты видел Колоскова?

— Видел. Бухой.

— Знаешь, что он мне заявил? «Воспитатель, предупреждаю...»

— Это из-за Любки-то? Он ее ко всем ревнует. В конце концов отдубасят его. Сеня с Павлом ушли. Теперь защищать его некому.

Лосев, кажется, не стал бы возражать, если бы кто-нибудь и впрямь проучил Колоскова.

— У них что — любовь?

— Вроде. Удивляюсь. Что в Климе хорошего? А она любит его. Он и пользуется этим. Придет с ней, а потом

начинает выпендриваться: сам не хочу танцевать и тебе не разрешаю.

Так вот почему Люба не сразу решилась танцевать с ним...

Колоскова привезли в общежитие чуть живым. На милицейской машине. Дружинники нашли его спящим на заснеженной скамейке в скверике напротив общежития. Доставили в райотдел, где его опознал Ерохин. Если бы не Алексей, не миновать бы Климу вытрезвителя.

Было уже два часа ночи. Ерохин растолкал воспитателя. Тот вскочил, ничего не понимая, хотя Алексей уже несколько раз повторил:

— Твой Колосков чуть не замерз!

— Почему мой? — спросил Лосев и тут же встревожился: — А где он сейчас?

— Пошли.

Клим лежал на полу в комнате-сушилке, одетый и обутый. Под голову ему подложили шапку. С ботинок стекали капельки таявшего снега, и под каблуками образовались лужицы.

Они стояли над ним молча — Лосев, Ерохин, дежурная тетя Наташа. «Как такого можно любить?..» — недоумевал Лосев. Но тут же отбросил эти мысли.

— Что будем делать? — спросил он Алексея.

— Пусть спит. К утру очухается. А там разберайся...

Лосев зашел в двадцать вторую комнату, где жил Колосков. Ему хотелось показать Панову и Старикову, в каком состоянии доставили их друга. Дернул дверь — она была заперта изнутри.

— Спят, — сказала тетя Наташа. — С вечера спят. Выпимши пришли — видела. А дружка бросили...

Воспитатель напрасно дернул дверь еще раз и зло опустил бессильную руку. «Что-то нужно с этой троицей делать. Слово до них не доходит...»

В докладной записке на имя директора завода он писал:

«Довожу до вашего сведения, что жильцы общежития Панов П. и Стариков С. (первый токарь, второй шлифовальщик инструментального цеха) систематически нарушают правила внутреннего распорядка. Несмотря на неоднократные замечания, они продолжают появляться в нетрезвом состоянии. Больше того, они спаивают молодого рабочего Колоскова К. А девятнадцатого декабря оставленный ими Колосков уснул на улице, и лишь случайность спасла от трагического исхода. Дать объяснение по этому поводу Панов и Стариков отказались, вину свою не признали, а при беседе вели себя грубо и вызывающе.

Предлагаю за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка Панова П. и Старикова С. из общежития выселить и прошу рассмотреть вопрос об их пребывании на заводе».

На другой день Лосеву позвонил председатель завкома Леонид Стефанович Соломкин:

— Слушайте, Лосев, мне передали вашу докладную, просили разобраться. Собирайте на четверг собрание, будем принимать меры.

Красный уголок был набит до отказа. Желавшие попасть на собрание толпились в коридоре. Лосев удивился, что братья Дробязкины сидели в первом ряду. Обыч-

Но их никуда на аркане не затянешь — только доминио подавай! — а тут явились первые.

Лосев опасался, что Панов со Стариковым не явятся, хоть он их предупреждал дважды. От них всего можно ожидать — люди с характером...

Но явились. Сидят. Стараются держаться бодро и непринужденно, но явно обеспокоены. Озираются по сторонам, ища поддержки и сочувствия...

Открыв собрание, воспитатель предложил Панову и Старикову пересест в первый ряд.

— Правильно, правильно! — поддержал Лосева председатель завкома Соломкин. — Чтоб у всех на виду были.

Ребята зашумели, задвигались. Панов и Стариков переглянулись и послушно пересели в первый ряд. Как раз напротив стола президиума. Лосев подумал, что, видно, они избрали нехитрую, но верную тактику: на рожон не лезть, признать себя виновными, пообещать немедленно исправиться. После этого что с них возьмешь? Пожурят, и все.

Первому дали слово Соломкину. Леонид Стефанович встал, одернул пиджак, поправил галстук. Несколько секунд всматривался в лица собравшихся. Затем достал из кармана вчетверо сложенный листок («Моя докладная», — узнал Лосев), начал свою речь с лирического вступления:

— Товарищи! Я вот гляжу на вас, и сердце мое полнится гордостью: какая замечательная у нас молодежь! Вы, рабочие люди, — ее лучшие представители. Вашими золотыми руками создаются несметные материальные ценности нашего общества.

Ребята притихли. Соломкин издали подходил к главной теме своего выступления. «Что значит опыт! — подумал Лосев. — Я бы сплеча начал рубить».

Наконец Соломкин развернул докладную. Воспита-

тель предполагал, что Леонид Стефанович сейчас прочтет ее, но тот лишь пробежал глазами по листку и положил его на стол, как веское вещественное доказательство.

— ...К сожалению, отдельные рабочие пятнают свое высокое звание. Так, нам стало известно о неблагоприятном поведении ваших товарищей... Панова и Старикова.

И он повторял то, что сообщалось в докладной записке. Подробно остановился на каждом факте. Когда речь зашла о Климе, что его спаивают, он сказал:

— Я один пью, они ни при чем!

По красному уголку пробежал легкий смешок.

— Не перебивай, Колосков, — привстал председательствующий Яков Мокеевич.

Соломкин закончил свое выступление довольно сурово:

— Наш завод борется за высокое звание предприятия коммунистического труда, и мы не позволим, чтобы наши ряды разъедала ржавчина. У администрации и профсоюзного комитета единое мнение насчет Панова и Старикова: выселить их из общежития.

Поднялся гул, Яков Мокеевич выкрикнул:

— Успокойтесь, прошу соблюдать тишину! Есть предложение выслушать другую сторону — Павла с Сеней. — И тут же обратился к ним: — Кто первый?

Встал Панов — вполоборота к президиуму. Скрестил руки на груди, правую ногу выставил вперед.

— Да, мы выпивали, — начал он. — А кто не выпивает? Вы, товарищ Лосев, не выпиваете? Если б вы побыли в нашей рабочей шкуре, раз-другой намантулились у станка, тогда б иначе запели. Не стали б этот концерт устраивать. — Панов кивнул в сторону ребят. — А что касается выселения — выселяйте. Только завтра и ноги моей на заводе не будет. Наш брат рабочий без дела не останется — токаря кругом нарасхват.

Вон какой контрудар приготовил Панов! Лосева резануло то, что Павел считает его чуть ли не бездельником. «Может, я здесь больше сил отдаю, чем любой станочник? — с обидой подумал воспитатель. — Уже который месяц без выходных работаю...»

Но что скажет Стариков? Будет гнуть туда же? Они с Павлом наверняка сговорились.

Сеня тяжело приподнялся, переминаясь с ноги на ногу.

— Правильно критиковал нас Леонид Стефанович. Виноваты...

Панов замахал руками, будто отбиваясь от пчел:

— Ты что? Ты что?..

Стариков, однако, спокойно продолжал:

— Виноваты, Павло, чего юлить? Обещаем исправиться. Колоскова больше трогать не будем, а он и вправду слабак — от стакана с ног валится.

Последние Сенины слова вызвали оживление. Особенно в том ряду, где сидел Клим. Кто-то кольнул его пальцем в бок, Клим попытался огрызнуться, но на него зашикали, и он смиренно спрятал голову в плечи.

Следующим был начальник инструментального цеха Алтунин.

— Стыдно! Мне стыдно за вас, Панов и Стариков! Передовики производства, отличные мастера — на Доске почета в цехе висите! Вы опозорили не только себя. Вы опозорили весь коллектив инструментального цеха. Я чувствовал себя опозоренным, когда Панов заявил: «А кто не выпивает?» Это старый прием. Просто вы, товарищ Панов, оправдание себе ищете. Стрижете всех под одну гребенку: и себя, и меня, и Лосева, и всех друзей... Я — тоже за суровое наказание!

Алтунин немного передохнул, как бы собираясь с мыслями. За всей суровостью его слов скрывалась дру-

гая цель: выгородить своих рабочих, спасти их от выселения. Он знал, что найти таких специалистов, как Панов и Стариков, нелегко. По его просьбе они безотказно работали порою и две смены. Особенно часто он обращался к ним в конце месяца, когда план буквально «горел». В таких случаях он сам выписывал им разовый повышенный наряд, и Павло с Сеней старались.

— Я думаю, — заговорил снова Алтунин, — сегодняшнее собрание послужит хорошим уроком Панову и Старикову. На какой-то момент они почувствовали свою безнаказанность. Надо признаться, доля вины лежит здесь и на нашем коллективе, который мало интересовался, чем занимаются его лучшие рабочие в свободное время. Мы это дело исправим. Вместе с тем я просил бы и завком, и собрание не выселять Панова и Старикова из общежития. Не такие уж они неисправимые. Мы должны помочь им не сбиться с правильного пути.

Алтунин сел, блеснув глазами в сторону Панова и Старикова: мол, кайтесь, черти, видите, как я вас отстаиваю!

Выступила Галкина. Ничего существенного не сказала. Уговаривала жильцов уважать воспитателя: он хоть и молод, но заботлив и старателен. Лосев же при этом чувствовал себя так, будто его поили горьким противным лекарством. «С чего это вздумалось Анне Ивановне защищать меня? И так надоела со своими предупреждениями: «Смотрите, Евгений Сергеевич, с ребятами поосторожней. Они, не ровен час, и темную могут устроить. Шпана!»

В конце концов кто-то ее перебил:

— А почему утюгов нету?

— Почему нет? Кто сказал — нет? В прошлом году пять утюгов получили.

— Так спирали перегорели!

— Ну, а я при чем тут? Я же спирали не выпускаю. Яков Мокеевич прервал неожиданный диалог:

— У вас все, Анна Ивановна? Кто следующий?

Стариков локтем толкнул Панова. Тот поднял руку.

— Панов? Что-то добавить хочешь?

Пока выступали Алтунин и Галкина, Павло успел одуматься. Особенно здорово подействовал на него начальник цеха. «Действительно, подвожу я его. А мужик он толковый! — рассуждал Панов. — Надо как-то выкрутиться». А тут еще Сеня зло шепнул ему: «Проси слово!»

И вот он снова стоит вполоборота. Руки по швам, взгляд потуплен.

— Я коротко, ребята. Погорячился я в первый раз. То есть не так выразился. Я хотел сказать, что все понемножку пьют... А критику мы с Сеней учтем... Только просим не выселять. — И сел на свое место.

Алтунин просиял.

Наступила тишина. Ребята чего-то ждали. И к ним обратился Соломкин:

— Что ж вы молчите? Каково ваше мнение? Или вы равнодушны к судьбе товарищей?

— Ось дайте я скажу! — как бы в ответ раздался голос Толика Борисенко. Он стоял в дверях — ему тоже не хватило места.

— Ты к столу, Борисенко, пройди.

— Ни, я звидциля... — Он выпрямился, будто приготовился читать стихи со сцены. — Як бы мени хто ранише сказав, що Павло з Сэмэном в пэрэдовиках ходять та щэ й на Дошци пошаны высять, я б ни за що не повирыв. Ну, а раз начальник цеху каже, значыть, правда. И грош цина тому начальнику, який нэ знае, чим займаются пися роботы його пэрэдовыкы. — Алтунина передернуло, он хотел возразить, но воздержался. — Ось у нас в кузнэчному, напрыклад, пэрэд Жовтнэвым святом подяку, бла-

годарность то есть, хотилы мѣни объявить, та перѣдумалы: узналы, що я з жинкой разошлся. Хоть моеи выны в тому й мало — вона мѣнэ заманыла до вас на Урал та й покинула.

Поднялся смех. Якову Мокеевичу пришлось долго стучать карандашом по графину с водой, чтобы успокоить собравшихся.

— Тише, товарищи, успокойтесь! А ты, Борисенко, по-серьезней.

— А я хйба нэ сэрйозно? — удивился Толик. — В общем, так: можэ, и нэ на зовсим, а на мйсяць-пивтора Павла з Сэмэном высэлыть трэба. Щоб и другим наука була. Клыма ж Колоскова мы в своему гуртку проробым. Пыть забороным зовсим: спорт твэрэзых любыть.

Колосков что-то хотел сказать, но его одернули, и он замолчал.

«Молодец, Толя! — радовался Лосев. — Здорово выступил!»

Панов со Стариковым приуныли. Раз уж свои ребята начали выселения требовать, добра не жди. А расставаться с общежитием Павлу и Сене ой как не хотелось! Все же, считай, выросли здесь, какими-никакими, а людьми стали. И зря Панов пригрозил, что уволится — вздор это. Прикипел он сердцем к заводу, не мыслил жизни без него.

— Есть еще желающие выступать? — спросил Яков Мокеевич. И, не ожидая ответа, сказал: — Тогда разрешите мне... Я на все это смотрю так: плохо поступают Павло с Сеней, что увлекаются водкой. И что этого... кучерявого... к ней приучают. Я тоже с зелеными живу — Микешин, Жилин, Клепин... И если бывает грешок — стараюсь без них... Теперь о выселении. Давайте строго предупредим Павла и Сеню. Но последний раз предупредим! — Яков Мокеевич кашлянул в кулак, как

бы давая знать, что закончил выступление. — Кто следующий?

«Наступила, видно, моя очередь», — подумал Лосев.

В его докладной записке речь шла и о выселении, и об увольнении. Увольнение отпало — об этом они договорились перед собранием с Соломкиным, который привел веский довод: нельзя человека дважды наказывать за одно и то же.

Вопрос насчет выселения остался открытым. «По ходу дела сориентируемся», — сказал Соломкин. Ход дела убеждал Лосева, что надо требовать выселения. Но, слушая Якова Мокеевича, он засомневался. Ведь выселить проще всего. Сложнее повлиять на Павла и Сеню. Надо попробовать, может, Панов со Стариковым и впрямь одумаются.

Лосев волновался. Он не знал, отвечать или не отвечать Панову на его упреки. Обида еще не прошла, но все-таки он решил не давать боя — уж слишком нелепо было обвинение.

— Дорогие ребята! — голос Лосева дрогнул. — За то время, что я у вас работаю, мы успели мало-мальски узнать друг друга. Научились друг друга понимать и уважать. Поверьте, что всегда, с первого дня хотелось делать вам только добро, и я стараюсь его делать в меру своих способностей. Я всегда помнил: работа моя особая, и поэтому с меня, как с коммуниста, особый спрос за каждый мой шаг. Но вся моя беда — молодость. Кое-кто думает, что со мной можно не считаться. Что я — не авторитет. Что каждое мое замечание — всего лишь придирка. И в ответ на добро такие, как Панов и Стариков или Колосков, отвечают пакостью. Они не только пьют, но и живут по-свински. Зайдите в их комнату: неуютно, грязно, постели прибраны кое-как, дышать нечем... Говорил им — как горох об стенку. И это — пе-ре-до-ви-ки!

Недавно я узнал, что Стариков в свое время бросил вечерний институт, Панов — школу мастеров. Я спросил их, почему? Отшутились: мол, и так хорошо зарабатываем, зачем нам учиться? Да и пожить хочется в свое удовольствие. А ведь на деле это — слабость, безволие. Жаль, что никто не указал Панову и Старикову на это ни в общезнании, ни в цехе, товарищ Алтунин. — Услышав свою фамилию, Алтунин встрепенулся, но затем опять склонил голову на плечо, как бы подремывая. На самом деле он ловил каждое слово.

Лосев удивился, что сейчас его негромкий голос звучал гулко и четко, как через микрофон. «Или тишина такая стоит? Конечно, тишина».

— Сегодня мало досталось Климу Колоскову. Человек он сложной судьбы. Но ты, Клим, уже не мальчик. С тобой нянчились в детдоме, в училище — и это было закономерно. Теперь ты вырос и будь добр отвечать за свои поступки. Не век тебе скидки делать. Пора уже спросить, чем ты живешь и как живешь.

Лосев говорил, глядя на Колоскова. Клим смотрел в сторону. На лице — безразличие. Но как выдавали его волнение губы! Он то покусывал их, то они невольно кривились.

— Я знаю, что не все в общезнании осуждают Панова со Стариковым. «Живут, дескать, ребята, никому особо не мешают, чего к ним пристают?» Таких горе-добрячков мало, но все-таки они есть. Я их понимаю: они и сами с грешком. Один — прогуливает, другой — выпить не прочь, третий — от общественной работы уваливает. Мы, культбытсовет, с ними еще встретимся и, я думаю, договоримся. Что касается наказания Панову и Старикову, я согласен с мнением Якова Мокеевича: строго предупредить...

Соломкин поддержал Лосева.

Кто-то вдруг захлопал в ладоши, но тут же осекся. От напряжения у Лосева ломило в висках, он поправил непослушные волосы, вытер платком губы. Ему вдруг стало легко, будто освободился от непомерной ноши. В висках так ломило, что в последний момент успел поднять руку, когда голосовали за предложение Якова Мокеевича.

13

Из дневника Лосева

«Сегодня ко мне обратились ребята сразу с тремя просьбами:

— Пойдемте опять на стрельбище...

— Давайте культпоход организуем, а то билет в кино одному не достать...

— Вот бы еще подобную лекцию!

Стрелять захотели братья Дробязкин.

В кино попросились Жилин с Клепиным — из комнаты Якова Мокеевича. Они ужатся в вечерней школе, им в очередях за билетами некогда стоять.

Про лекцию намекнул Петька Негодяев (да, да, фамилия у парня такая). Недавно советовался со мной, не поменять ли? Петьке очень понравилась лекция, что читал начальник райотдела милиции.

У меня прекрасное настроение! Значит, нужен я, раз обращаются! Теперь никто не упрекнет, что я только санбюллетенями занимаюсь».

«Иногда терзаюсь: а что дальше? Какая у меня перспектива? Хотя мне моя работа и нравится, но нельзя же жить без перспектив. Нужно расти, к чему-то стремиться. Не в мои годы зарастать тиной. Другим я толкую об этом

и на собраниях, и в беседах, а у самого, выходит, кишка тонка.

Итак, цель номер один: поступить на заочное отделение в институт. На исторический факультет.

Но эта цель так и останется целью, если сидеть сложа руки. А я вот уже который месяц не заглядываю в учебники, хотя после армии обещал себе усиленно готовиться целый год.

Учебники у меня есть. Нет времени. Как лассо, захлестнула меня работа. Формально мой рабочий день начинается в три часа, но я давно забыл об этом и приступаю к делам с самого утра.

Выходной у меня во вторник, но я не помню, когда использовал его. Все стараюсь, мечусь, все забочусь о чем-то. Мне кажется, эти заботы — лишь слой, раскопав который найдешь то неведомое, главное, ради чего меня и направили в общежитие.

Мечусь, кручусь, а временем своим распорядиться не умею...»

«Был на днях на заводе, зашел в механический цех. Иду по главному пролету, глазею по сторонам. Вдруг слышу сзади:

— Эй, эй!

Оглянулся — почти надо мной на крюке, как на полусогнутом пальце, висит огромная связка круглых литых заготовок. Грузчик накинулся на меня:

— Ты что, оглох — звонка не слышишь?

Звонок-то я слышал. Но не сообразил, что сигналият мне.

Крановщица из своей кабины делала знак: уходи, мол, чего замешкался? Лицо ее показалось мне знакомым. Ах, да это Люба, с которой я однажды танцевал.

Я пропустил груз и чуть было не упал, споткнувшись о какую-то железяку».

— Люба?! Вы как здесь?

— А вы?

— Я — к сестре.

— А я — с сестрой.

Когда Лосев вошел, Люба у зеркала в коридорчике причесывалась. Сестра Лосева, Ирина, открыв дверь, изумилась:

— Вы знакомы?

— Немного.

— Вот кстати-то. Поухаживай за Любой, — распорядилась она и поспешила на кухню.

У Ирины — день рождения. Тридцатилетие. Люба, как выяснил Лосев, приглашена вместе со своей сестрой — подружкой Ирины. Они, оказывается, вместе работают на химзаводе аппаратчицами.

Лосев и Люба вошли в комнату, поздоровались. Гости было человек десять. Женщины суежились вокруг стола, мужчины покуривали возле приоткрытой балконной двери.

Лосев никого из них не знал. Вошедших смерили любопытным взглядом. Наверняка подумали — жених и невеста. Лосеву стало неловко, но он переборол себя. «Пусть думают, — решил он. — Я даже хочу, чтобы думали! Чем Люба плоха?»

Лосев был рад неожиданной встрече. У него сразу как-то потеплело на душе.

Но до конца открыться себе боялся: вставал перед глазами Колосков, слышался его голос: «Зачем, воспитатель, нам дорогу переходишь?»

За стол их посадили рядом. Слева от Лосева — Ирина с мужем, справа — Люба. И поначалу гости больше внимания обращали на Лосева и Любу, чем на именинни-

цу. Особенно Любина сестра присматривалась. Делала вид, что глядит на Ирину, а сама косила глаза на него.

Ох, уж эти женщины!

Но вот и первый тост. За Ирину. Все наконец вспомнили о ней, чокались, желали ей добра, здоровья, всяческих благ.

Пели, пили, смеялись и снова пили. Сидевшая напротив Лосева женщина уже который раз предлагала тост за молодых, то есть за Лосева с Любой. Любина сестра делала вид, что сердится:

— Да перестаньте, как вам не стыдно!

Но женщина не обращала на нее внимания и наклонялась к мужу, лысеющему толстяку лет пятидесяти:

— Давай мы за них выпьем! — И муж охотно поднимал свою рюмку.

Потом включили магнитофон и, отодвинув в сторону стол, пошлы танцевать. Почти все. Кроме той женщины, что предлагала выпить за молодых.

Любу на танго пригласил Ирнин муж, Гоша. Лосев танцевал с Ириной. Она была весела, хоть и порядком устала. Тихонько спросила:

— Как успехи?

— В чем?

— В воспитании.

— Смеешься?

— Серьезно, Женя.

— Нормально.

— Слушаются?

— А как же?

— А я уж думала, ты на новом месте. Мне почему-то казалось, что там ты недолго продержишься... Не нравится мне твоя работа. Я даже гостям соврала. Поискал бы, право, что-нибудь другое...

Лосев промолчал. Он знал, что все равно не переубе-

дит сестру. Когда он демобилизовался, она ему уши прожужжала: «До армии время терял в своем райкоме, теперь опять все сначала. Хоть другую специальность выбери, если агрономию забросил. Вон к нам аппаратчики требуются...»

На вальс Лосев пригласил Любу. Долго танцевал молча — расстроился после разговора с Ириной. А Люба заглядывала ему в глаза:

— Вы чем-то недовольны?

Лосев ответил как можно бодрее:

— Всем доволен, Любочка. Просто уходить отсюда не хочется...

— Так не уходите.

— Надо. В семь часов шахматный турнир открываем. Это была правда. Если бы Лосев остался, турнир мог бы сорваться: на культбытсовет надейся, а сам не плошай...

Так ни с чем они и расстались.

На другой день ему позвонила Ирина. Спросив про самочувствие, заговорила о главном:

— Требуется твоя помощь, Женя. Мы тут вчера, когда ты ушел, обсуждали разные дела... Так вот, Люба в общежитие просится.

— Что это вдруг? — почуяв подвох, спросил Лосев.

— И совсем не вдруг. Она давно пилит сестру: «У вас в квартире и так теснота, а тут я еще. Когда училась, понятно, некуда было деться, а сейчас я на заводе». Пошла в жилотдел, а ей — отказ: все забито... Помогите, Женечка. Может, и впрямь девчонке полезно пожить самостоятельно. Да и веселей в общежитии.

Лосев пообещал. А про себя твердо решил: помогу. Отчего не помочь человеку?

Несколько раз приходил Лосев к начальнику жил-отдела, спрашивал:

— Не освободилось место?

Тот хитровато жмурился:

— Нет, Евгений Сергеевич, нет, дорогой. А что за персона такая, что не может сама за себя походатайствовать?

— Крановщица. Хорошая девушка.

Начальник улыбался:

— В этом я не сомневаюсь. Ладно, поможем вашей хорошей девушке.

Лосев краснел:

— Какая она моя?

— Ничего, ничего, сам был молодым.

Наконец начальник обрадовал Лосева.

— Освободилось место. Катерина Уварова — слышал? — пошла за Соловьева, технолога из механического. У него в прошлом году жена умерла. Трое детей осталось. Поселяй свою хорошую девушку. Да пусть хоть заявление сама напишет.

Лосев еле дослушал его.

— Спасибо! — А вылетев из кабинета, побежал на завод, чтоб сообщить Любе приятную весть.

15

К братьям Дробязкиным Лосев зашел, чтобы пригласить их на лекцию. Жили они после увольнения Малинина вдвоем. Но каково ж было удивление воспитателя, когда он застал у них Аркадия. Как частенько и раньше, он играл с братьями в домино. Держался развязно, старался казаться независимым. Пальто и шапку небрежно бросил на бывшую свою кровать, резиновые сапоги его были сплошь облеплены жидкой грязью.

Заметив Лосева, Аркадий поманил его:

— Садись, воспитатель, нам как раз четвертого не хватает!

В комнате было накурено, из переполненной пепельницы после резких ударов Малинина костяшкой по столу выпрыгивали окурки. От Аркадия пахло вином.

— Ты что здесь, Малинин, делаешь? — Лосева начала бить дрожь. Братья Дробязкины притихли, виновато переглянулись. Лосев повторил вопрос: — Ты что здесь делаешь?

Малинин усмехнулся:

— Иль не видишь? Играю в домино.

— Зачем пришел?

— А что, нельзя? Я к друзьям, а не к тебе пришел.

— Уходи немедленно!

— Надоест — уйду.

— Нет, сейчас уйдешь!

— Может, милицию вызовешь? — Малинин с вызовом смотрел на воспитателя.

И тут случилось то, за что Лосев не раз осуждал себя потом, за что его осуждали другие. И правильно осуждали.

Он схватил опешившего Малинина за лацканы пиджака, легко поднял его со стула и толкнул к двери. Тот не удержался на ногах и упал.

— Вон, негодяй! — Лосев схватил пальто Аркадия, швырнул ему вслед.

Малинин долго ворочался, накрытый упавшим на него пальто. В коридоре, у открытой двери, стали собираться ребята, никто ничего не понимал.

Наконец Малинин встал. Рукой он держался за лоб. Между пальцев проступала кровь, тоненькая струйка катилась за рукав. «Ударился!» — мелькнуло у Лосева. Малинин сел на прежнее место и негромко сказал:

— Ну, воспитатель, это тебе даром не пройдет...

Тут же обиженно проговорил один из братьев Дробязкиных:

— Нельзя так, Евгений Сергеевич...

«Да, — подумал Лосев, — погорячился я — не надо было марать руки о Малинина». Но виду не подал. Коротко сказал, главным образом для тех, кто стоял у двери:

— По-хорошему просишь — не понимает. Общежитие — не проходной двор. — И вышел.

Как розги секли Лосева провожавшие его взгляды ребят. И впрямь: зачем он так поступил? «Мне, как саперу, ошибаться нельзя. Можно в момент растерять всякий авторитет», — корил себя воспитатель.

Скверно было у него на душе...

Назавтра к Лосеву как бы по делу — проверить, не пора ли менять шторы, — зашла Анна Ивановна Галкина. Сначала заговорила о том о сем, сообщила, что написала новые электроутюги, а потом уж — вроде ненароком — спросила:

— Чего это ребята вами, Евгений Сергеевич, недовольны?

— Так-таки все недовольны? Впрочем, я и сам знаю — погорячился.

Галкина подошла к зеркалу, вытерла кончиками пальцев помаду с уголков рта, словно не слыша воспитателя, продолжала:

— Наверно, потому недовольны, что ведете себя немножко неправильно. Кстати, Евгений Сергеевич, я в прошлом педагог — в младших классах преподавала. Непедагогично это — заниматься рукоприкладством. Хотя Малинин и не наш жилец...

— Я ведь, кажется, вам ясно сказал: погорячился.

— Ну, а как насчет Любы?

Лосева как ужалили:

— Какой Любы?

— Викуловой. Ту, что вы в общежитие устроили. Говорят, специально ее туда поселили, чтоб поближе было на свидание ходить. А Колоскова, значит, она — в сторону. Бросила его... А любила-то как!..

Анна Ивановна, казалось, не говорила, а вбивала в Лосева гвозди. «Какой ужас! Какая сплетня! — думал он. — И разносит ее комендант общежития!»

— Ну, я пойду, Евгений Сергеевич. Извините за беспокойство.

Он сжал зубы, боясь сорваться.

Молча кивнул: ступайте, мол, не смею задерживать, понятно, зачем приходили...

16

Лосев составил график дежурств в красном уголке. Обязанности дежурного — следить за порядком, подшивать газеты, не допускать курения. Особенно во время телепередач.

Первым дежурил Петька Негодяев (вернее, Соколов — недавно он поменял-таки фамилию).

— После дежурства зайти ко мне, — попросил его воспитатель.

И вот он стоит перед Лосевым, смущается, как невеста на выданье. А на работе, говорят, — зверь. Отличный токарь. Не одну благодарность имеет.

— Ну, как дела?

Петька пожал плечами: нормально, мол.

— Как дежурство прошло?

- Так себе.
- Был порядок?
- Был. Только, когда футбол передавали, курили. Тайком — из рукавов. Кого замечал — выводил.
- Ворчали небось?
- Немного. «Вечно Лосев что-нибудь придумает. То ли дело — прошлый воспитатель, он сам окурки на полу давил». А так — ничего...
- Завтра кто дежурит?
- Колосков.
- Будь добр, Петя, напomini ему.
- Хорошо. Можно идти?
- Можно.

Соколов ушел, а Лосев стал раздеваться — время шло к полуночи.

Когда расшнуровывал ботинки, в дверь постучали. Лосев с Ерохиным, как правило, не запирали дверей на ночь.

— Входите — открыто.

Вошел Колосков. В майке, заспанный, — видно, Соколов разбудил его.

Лосев вопросительно уставился на Колоскова. Почесывая затылок, Клим тихо сказал:

— Не могу я завтра, Евгений Сергеевич. В другой раз подежурю, а завтра — не могу.

— Что за причина, если не секрет?

Колосков замялся.

— Да это... у нас... свидание.

«У нас» — это у него с Любой. Не понять Колоскова было, конечно, нельзя.

— Хорошо, я найду замену... Кстати, признайся: ты сочинил нелепицу?

Колосков поблел.

— К-какую?

— Будто я дружбе вашей мешаю.

— Галкина вам наговорила? Галкина, не отказывайтесь. Она мне тоже пела: «Смотри, как бы Евгений Сергеевич не увел Любу, думаешь, зря ее в общежитие устраивает?» Я ей прямо сказал: мы с Любой сами разберемся.

Клим не врал — говорил искренне и ни разу не споткнулся. Он подтверждал, что сплетня пошла от Галкиной. Но Лосев не понимал, какой резон ей воду мутить. Или уж человек такой?..

Одно за другим, одно за другим...

Тщетно мечтает Лосев о таком дне, когда в общежитии наступят тишь и гладь, спокойствие и полный порядок. И чтоб — никаких происшествий.

Тщетно мечтает Лосев о таком дне. Ведь тут — двести человек! И все молодые, горячие, неосмотрительные.

Он сидит в приемной хирургического отделения заводской больницы, виновато покусывает губы. «Все из-за меня, все из-за меня», — без конца мысленно повторяет он.

...Клим Колосков с Любой так и не встретился. Выйдя из общежития, он наткнулся на Аркадия Малинина. Тот был пьян, остановил Клина, попросил закурить. Закурив, качнулся, чуть не упал. Колосков поддержал его.

— Воспитатель дома? — спросил Малинин.

— Дома.

— Счас я ему заделаю, — проскрипел зубами Аркадий. — Вот. — И вытащил из кармана нож.

Клим встrepенулcя:

— Не смей!

— Он мне заделал, а я ему... — Отстранив Клина, Малинин повернул к общежитию.

Клим схватил Малинина за рукав:

— Не смей!

Малинин вырвался и ускорил шаг.

Колосков догнал его и преградил дорогу:

— Не смей, себе ж хуже сделаешь!

— Себе? А мне все равно. Отстань!

— Не отстану!

Тогда Малинин пырнул ножом Клина в живот. В первые секунды Клим даже не сообразил, что произошло, попятился к невысокому забору и беспомощно повис на нем...

Теперь Лосев терзался: «Нужно было заставить Колоскова дежурить, он не пошел бы на свидание и не встретил Малинина».

Полчаса назад дежурная медсестра сказала Лосеву:

— Готовим к операции... — И захлопнула окошко.

Лучше б его, Лосева, оперировали. Пусть рвали бы без наркоза — по живому, лишь бы не страдал из-за него другой человек.

Рядом сидел Ерохин. Только что вернулся с дежурства. Тихонько ответил Лосеву на его вопросительный взгляд:

— Малинина? Поймали сразу же... Дружинники.

В дальнем углу маленькой приемной громко плакала Люба. Ее утешал Сеня Стариков. Люба, пожалуй, считала себя виноватой больше других — ведь Колосков шел к ней.

Все это понимали и сочувствовали ей. Но Лосев считал, что больше всех виноват он: «Что мне стоило сказать: «К сожалению, Клим, дежурить тебе придется, у нас график железный?!» Не сказал! Испугался, как бы Клим не подумал, что воспитатель и впрямь хочет встать поперек их любви».

Павло Панов курил папиросу за папиросой. Тоже укорял себя: не усмотрел за другом. А как он мог усмотреть? Не ребенок же Клим, чтоб с ним провожатый ходил!

Около двух часов ночи в приемную ввалилась вся тридцать шестая комната: Яков Мокеевич, Микешин, Иван Клепин, Коля Жилин.

Яков Мокеевич подошел к Лосеву и, кивнув в сторону окошка, шепотом спросил:

— Ничего не сообщали?

— Наверно, уже оперируют.

По-прежнему всхлипывала Люба. Сеня уже не успокаивал ее, а просто стоял рядом.

Ерохин ходил взад-вперед по приемной, засунув руки в карманы расстегнутой шинели. Панов вдруг обратился к нему:

— Аркашке что будет?

— Не меньше пяти, — глухо ответил Ерохин.

Дверь приемной открылась, вошли еще человек шесть-семь. Последним вошел Толик Борисенко.

— Тут уже никуда... — шепнул он кому-то за дверь. — Стийте там...

В большой семье — горе. И не спится сейчас никому в общежитии.

Из больницы вернулись под утро. Добирались пешком — ни трамвай, ни автобусы еще не ходили. Устали, продрогли под холодным мелким дождем.

Лосев попробовал уснуть, но не получилось. Перед глазами вставал Колосков: как он просил перенести дежурство, как встретился с Малининым, как тот его ударил... Как его везли в операционную... Как склонился над ним хирург с зажатым в руке скальпелем...

Сон не шел. От бессонницы резало глаза, точно в них насыпали песку.

Лосев встал, пошел в умывальник, окатился до пояса холодной водой и сразу взбодрился. Да и глазам полегчало.

С трудом дождавшись восьми часов, Лосев отправился в завком. Соломкин был на месте. Он уже знал о случившемся.

— Не повезло парню, — сочувственно сказал Соломкин и нажал на кнопку звонка. Вошла секретарша. — Пригласите Светлану Николаевну. Перед самым вашим приходом, — обратился Соломкин к Лосеву, — звонила заведующая хирургией. Колосков потерял много крови. Нужна помощь. Сейчас свяжусь с начальником механического, где Колосков работает, надо срочно сдать крови организовать.

— Что ж они нам не сказали!.. — С досадой воскликнул Лосев. — Мы бы там сразу сдали.

— Надеялись, что все окончится благополучно.

«Ах, какая досада! Сколько времени потеряно!» — вздохнул воспитатель.

— Вот что, Леонид Стефанович! Не надо звонить в механический. Я наших ребят соберу, общежитских.

Председатель завкома, видимо прикинув все «за» и «против», кивнул головой:

— Добро! Автобус будет через час у общежития.

Вошла бухгалтер завкома Светлана Николаевна, стройная красивая женщина лет сорока.

— Вот что, — обратился к ней Соломкин, — тут несчастье с одним парнем. Выпишите пособие, Лосев получит.

Но Лосев не стал ожидать, пока Светлана Николаевна выпишет деньги. Он вскочил со стула и что есть духу кинулся в общежитие.

«Сейчас, — размышлял он, — «сяду» на телефон, позвоню в основные цехи. Народу в общежитии днем негусто — большинство работает в первую смену». «Сидеть» на телефоне Лосеву приходилось и раньше, когда до армии в райкоме комсомола работал. Телефонogramмы наловчился передавать, помнил наизусть номера телефонов всех комсомольских организаций.

Прибежал — и сразу в дежурку.

— Тетя Наташа, никого сюда не впускайте. У меня срочный разговор.

Первым делом набрал инструментальный.

— Мне Панова или Старикова.

— Кто просит? — поинтересовался женский голос.

— Воспитатель Лосев.

— Хорошо, сейчас.

Через две-три минуты подошел Стариков.

— Слушай, Сеня, Колоскову нужна кровь. Скажи общежитским, кто у вас работает, чтобы отпросились. Пожеланию, конечно. Автобус будет через час.

— Будет сделано! — коротко ответил Сеня и повесил трубку.

Следующий — литейный. Якова Мокеевича. Короткие гудки.

Следующий — ремонтно-механический. Клепина или Жилина. Позвали Клепина.

— Слушай, Иван, Колоскову нужна кровь...

— Сейчас всем сообщу!..

Механический.

— Мне Негодяева... Соколова то есть.

Кузнечный...

Снова литейный...

Лосев спешил, а телефонный диск слишком медленно возвращался обратно.

В тридцатитрехместный автобус набилось человек шестьдесят. Шофер ворчал, но на него никто не обращал внимания.

Десять—двенадцать парней стояли возле автобуса. Лосев их не взял, Мишка Кириллов гриппом недавно переболел, у Феди Дробязкина и сейчас ангина.

Тут же был и пенсионер Хомяков, недавний вахтер, тоже попросился, но Лосев сказал ему:

— Поймите, что подумают о нас! Скажут: иль у них молодых нет, что и пожилого человека не пожалели?

Хомяков вроде бы и согласился, но время от времени снова заглядывал в автобус и кротко спрашивал:

— А может, все-таки не скажут?..

Но пора трогаться.

— На станцию переливания крови, — скомандовал Лосев.

Поехали.

Кто-то пытался пошутить, но его не поддержали. Строгость на лицах, сквозь которую проступала озабоченность. «Они, вот эти мои ребята, — думал Лосев, — готовы прийти на помощь не только одному Колоскову, а любому. Они в обиду не дадут никого. Себя не пожалеют, чтобы другому было хорошо...»

17

Федор Константинович, отец Якова Мокеевича, открыв дверь общежития, сразу столкнулся с Лосевым. Увидев незнакомого человека с кошелкой, прикрытой цветастой тряпичей, воспитатель не замедлил поинтересоваться, кто он и откуда.

— Пока ребят никого нет, — узнав, с кем он имеет

дело, сказал Лосев, — на работе. Через два часа будут... Заходите ко мне...

В гости к сыну Федор Константинович и не собирался. Поехал он сейчас, в горячую весеннюю пору, когда дома дел полно, случайно. А как получилось, он чисто-сердечно поведал Лосеву.

...Федор Константинович сочинял письмо сыну:

«Мы с матерью живы-здоровы. Скучаем по тебе. Как-никак третий год не видимся. Или ты провинился, что тебе отпуск не дают? Вон у других от гостей отбоя нет, а у нас все не как у людей.

Новость у меня, сынок. Ушел я из колхоза. В Межколхозстрой (я-то ведь еще до войны каменщиком в городе по вербовке работал!). По деревням всякие учреждения да коровники строим. Сейчас — в нашей Ольховке. Клуб тут будет! Уже фундамент класть заканчиваем. К Октябрьской наверняка откроем...»

Федор Константинович помял заросший серой щетиной подбородок. Подумал: «Может, не стоило об этом писать? Приехал бы Володька, тогда б ему объяснил, что к чему. А то начнет еще перевоспитывать: мол, стыдно, батя, колхоз покидать, там и так некому работать... Поймет ли, что в Межколхозстрое я буду больше получать? Мне перед пенсией это важно».

Он хотел перечеркнуть написанное, но передумал. Ему легче было печку сложить, чем письмо сочинить. Брату в Донбасс он писал раз в год по заказу.

Затем Федор Константинович сообщил о том, что будут сеять в городе, о том, что мать благодарит Володьку за туфли — подарок к Восьмому марта, что погода у них сейчас, после половодья, теплая, что женился Володькин школьный друг, тракторист Толик Трошкин...

Медленно и осторожно — чтоб ясней было — надписал конверт. Оделся, вышел на крыльцо.

— Мать, я — на почту, письмо снесу, — доложил жене и по-молодому соскочил со ступенек.

Шагал Федор Константинович бодро. На душе у него было легко и просторно. Так бывает, когда окончишь что-нибудь важное или исполнишь свой долг. А он письмо сыну написал, тоже дело!

Перед тем, как опустить конверт, Федор Константинович повертел его в руках — не расклеился ли. И уже было протянул руку, чтобы опустить письмо в ящик, но остановился в нерешительности.

«Стоп! А не зря ли я все-таки про Межколхозстрой написал? Может, объяснить про пенсию?.. Нет! Не поймет. Он, Володька, у меня сознательный, комсомолец, стыдить будет...»

Он уже всунул в отверстие конверт, оставалось разжать пальцы и легонько толкнуть его...

Но он, наоборот, сильнее сжал пальцы. Будто держал в руках стрелу, которая могла больно ранить Володьку.

Федор Константинович даже посмотрел по сторонам — не наблюдает ли кто за ним. Такое чувство было, словно его застали на месте преступления. Слышались голоса: «Ага, хитришь! Не выгодно, значит, в колхозе!»

И в этом хоре Федор Константинович отчетливо различал Володькин голос.

Опустив голову, он нехотя сунул конверт в карман пиджака:

— Не стоит письмом. Расскажу лично.

Домой вернулся хмурый.

— Собирай, мать, в дорогу. Соскучился я больно по сыну. Собирай...

И выехал в тот же вечер.

...Федор Константинович, кончив рассказ, попросил Лосева:

— Вы уж... того... пока ни слова ему. Я сам с ним перетолкую.

Воспитатель долго упирался, отнекивался, но Яков Мокеевич все-таки затянул его в свою комнату.

— Понимаешь, понравился ты старику.— Обидишь, если не зайдешь... Он своими гостинцами угостить хочет.

Микешин, сбегавший в магазин за водкой, поставил бутылку на стол.

— Это уж зря, ребята,— увидев «московскую», сказал Федор Константинович,— я тут прихватил домашней.

Воспитатель поморщился, но смодчал— ради гостя. В другой раз он не разрешил бы пить. И сам не стал бы.

На столе лежали сало с золотистой шкуркой, яйца, жареная курица... Микешин довольно потирал руки.

Наполнили граненые стаканы. Федор Константинович пил медленно. Выпив, закашлялся, вытер ладонью усы...

— Крепка ж, гадюка!— нюхая хлеб, сказал он.— Если бы лекарство какое это было, никто б не пил.

— Что верно, то верно,— подтвердил скривившийся от одного глотка Лосев.

Ели с аппетитом. Выпили еще. Стало веселее.

— Ты, Яков Мокеевич, сводил бы завтра батю на демонстрацию,— посоветовал Лосев.

— Все вместе пойдем,— сказал Микешин.— Еще и флаг вам дадим или транспарант какой... Посмотрите хоть на наших заводских...

— Добре, сынки, добре... Я помоложе был, уважал всякие парады, — отозвался Федор Константинович.

После ужина Яков Мокеевич уложил отца спать. Федор Константинович уснул быстро, как ребенок. Ребята тихонько оделись и вышли из комнаты.

С демонстрации Лосев пришел уставшим, притомившимся. Ноги гудели, а тело бил легкий озноб — на улице было ветрено и его, видимо, продуло. Он решил прилечь на полчаса, тепло укутался и сразу впал в полузабытье. В ушах еще гремели праздничные марши духовых оркестров. «Интересное состояние. Вроде бы и сплю, но все чувствую».

Вспомнил предмайские дни. Были они нелегкими, суматошными, а потому, казалось, бесконечными. Подготовка общежития, стенгазета, конкурс на лучшую комнату, уйма других малых и больших дел — все как обычно, как и перед каждым праздником. Не до учебников было. Но в последнее время он все-таки засел за них.

А разве не дело воспитателя — вести ребят на демонстрацию? Накануне все комнаты обошел, со всеми жильцами побеседовал. Обещали дружно явиться. Лосев был уверен, что так и будет. Хотя нет-нет, а тупой занозой покалывал память тот давний случай, когда ребята не менее дружно обещали пойти в картинную галерею.

«Но, — успокаивал себя Лосев, — теперь другие времена. Тогда ко мне относились с недоверием. Теперь верят».

Надежды Лосева оправдались. Человек полтора года на демонстрацию вышло! Остались лишь те, что заболели, да те, кто в ночь работал.

Общий сбор был возле заводоуправления. Общежит-

ские ребята явились туда вместе, дружной толпой. Впереди шагал Лосев. Директор, парторг, комсорг — все заводское начальство — подняли руки, приветствуя молодежь. Лосев радостно улыбался: мол, смотрите, какие мы молодцы!

Председатель культбытсовета Яков Мокеевич пришел на демонстрацию с отцом. Старик всю дорогу молча разглядывал людей, дома, транспаранты, а на обратном пути спросил Лосева:

— Ты, молодой человек, интересно мне, кем на заводе?

— Я? Воспитателем.

— Это, извиняюсь, у станка или в конторе?

— В конторе, батя, в общежитии.

— Где живешь, что ль?

— Где живу.

— Неплохо, повезло. А моего в литейщики нелегкая дернула. Учиться дальше не захотел, в ремесленное сбежал...

Федор Константинович еще долго поглядывал на Лосева и покачивал головой: наверное, впервые в жизни видел такую диковинку — человека, у которого и дом, и работа под одной крышей...

...Отдохнув, воспитатель вскочил. Надо было идти к ребятам. У них два дня отдыха, а у Лосева — два дня тяжелейшей работы. В праздники особенно нужно быть настороже, чтоб всюду был полный порядок. «Горячая предстоит работа, может, не менее горячая, чем у литейщика. Занять двести человек не так-то просто!»

Через неделю Федор Константинович уезжал. Пока ждали такси (Яков Мокеевич решил отправить отца на вокзал с шиком), он зашел к Лосеву проститься.

— Не понравилось, видно, у нас, что скоро уезжаете, — подставляя Федору Константиновичу стул, усмехнулся воспитатель.

Федор Константинович махнул рукой: мол, зря наговариваешь, молодой человек.

— У вас хорошо! Город красивый, кругом асфальт. . . Вон сколько ходил, а сапоги не запачкал. — Потом он поманил Лосева подсесть поближе и, наклонясь к нему, почти шепотом сказал: — Слушай, давно хочу спросить. Чего это моего Володьку Яковом Мокеевичем зовут?

Лосев расхохотался:

— На снабженца он тут одного похож. . . как две капли воды. Вот и перекрестили. . . Да он не обижается.

— Его дело. Только что ж он, сукин сын, имя свое забыл? Я его: «Володь, Володь», — а он не откликается.

— Отвык.

— Отвык. . . Это животное может отвыкнуть, а человек имя, родителями данное, завсегда должен помнить! . . Да, кстати. . . утрясли мы этот Межколхозстрой. Володька чудаком меня обозвал. «Чудак, — говорит, — сейчас что колхозникам, что рабочим пенсию одинаково дают. Ты что, — говорит, — газет не читаешь?» Обсмеял, одним словом. — Федор Константинович погладил усы: — А ты, значит, воспитателем. . . Это — вроде пионервожатой в школе?

— Не совсем. . .

— Все равно молодец. Всегда в тепле, да и ставка, должно, ничего. . . Только имя не забывай, как мой, да в отпуск к родителям езд.

Федор Константинович торопился высказать все, что накопилось за эти дни. Уходя, попросил:

— Ты повлиять на Володьку-то — три года не был. Все по каким-то туристским путевкам мотается. . .

«День за днем... День за днем...

Не заметил, как и май пролетел. Вроде бы вчера еще он робко вступал на землю, вчера начинал зеленеть. И вот уже позади цветение черемухи и первый гром, впереди — буйное лето.

Принес новость Алексей Ерохин. В райотделе решено направить его в милицейскую школу. Что ж, рад за друга, счастливой ему дороги!

Выписался Клим Колосков. Вчера в сквере свиданничал с Любой. Сидели на скамейке, не замечали никого и ничего. Просто сидели, склонившись, и молчали о чём-то. А я шел мимо и вспугнул их «Добрым вечером!...». Самому неловко стало.

Что еще в течение месяца памятного было? Провели слет передовиков. Мы с Захаровым, комсоргом завода, помогали организовывать его. Когда во время слета кто-нибудь из общежитских ребят поднимался на сцену за подарком или грамотой, я себя именинником чувствовал. Вроде бы мне они предназначались, вроде я лично их заслужил.

Отмечено было немало ребят: вся тридцать шестая комната во главе со своим старостой Яковом Мокеевичем, токарь Петька Соколов, каменщик Мишка Кириллов, кузнец Толик Борисенко — мои помощники, активисты мои. Получили подарки и Стариков с Пановым. В завкоме долго спорили: награждать их или не награждать? Наконец Леонид Стефанович Соломкин меня спросил:

— А как вы думаете? Как они сейчас ведут себя?

Что я должен был сказать? Правду. И я сказал ее:
— Конечно, Леонид Стефанович, Сеня и Павло после того собрания в общежитии ангелами не стали. Замечал, что выпивают. Но без Колоскова, и не в общежитии. Придут — и сразу в кровать, чтобы никто не приметил. . .

— Ну, так отмечать их?

— Можно отметить. . . А я с ними еще поговорю.

На том и порешили.

А на другой день после слета Панов был дежурным в красном уголке общежития. Закончив дежурство, зашел ко мне. Обычно живой, подвижный, он подозрительно долго развязывал нарукавную повязку. Затем смущенно сказал:

— Женюсь я, Евгений Сергеевич! Поздравьте.

Я не очень поверил.

— Разыгрываешь?

— Серьезно. Ухожу от вас. . .

И тут я поверил — это было сказано с болью.

— Что ж, очень рад за тебя, поздравляю! Только не забывай общежития, в гости заходи.

— Как же забыть? Я, может, вырос здесь. . . День за днем. . . День за днем. . .»

19

«Зачем вызывает меня парторг завода?» — ломал голову Лосев.

А зачем он может вызывать? Дать поручение, позвонить за ошибки в работе, посоветоваться наконец. . . Лосев медленно поднимался по лестнице на этаж и все гадал, гадал. . .

Когда Лосев вошел в кабинет, парторг Белых, извинившись, попросил его присесть и минуточку подождать, — он заканчивал писать какую-то бумагу. Навер-

ное, срочную, потому что, поставив точку, тут же понес
исписанные листки машинистке.

Вернувшись, пояснил:

— Вот-вот проверяющий из райкома придет, справку
ему готовлю. . .

— Так, может, я не вовремя?

— Нет-нет, у нас разговор короткий.

Белых убрал папки в ящик стола, закурил и откинул-
ся на спинку кресла.

— Как вам работается, Евгений Сергеевич? От души
только. . .

«Что сказать ему? — подумал Лосев. — Все дела
наши он знает — план работы культбытсовета в парт-
коме есть. Ну, а что касается лично меня, не жалуюсь.
Я вообще никогда не жалуюсь, в случае неудачи искать
сочувствия не стану».

Но к чему клонит Белых? Стряхнув пепел, он повто-
рил:

— От души только, Евгений Сергеевич. . .

— На работу не жалуюсь.

— Нравится, значит?

— Не нравилось — искал бы другую.

Белых поинтересовался, не думает ли воспитатель
жениться. Лосев покраснел. Белых заметил это:

— А чего тут стесняться? Вам ведь двадцать четыре
уже? Хотя, если думаете учиться, может, еще и рано-
вато.

Белых докурил сигарету, погасил ее в пепельнице и
неожиданно сказал:

— Мы решили рекомендовать вас секретарем завод-
ской комсомольской организации. . .

Первое, что пришло Лосеву в голову, — а Захарова
куда? Белых как будто прочитал его мысли:

— Захаров идет на повышение. В райком комсомола... вторым секретарем... Из всех членов комитета вы — самая подходящая кандидатура. Подумайте.

Лосев растерялся. И в голове у него закружился калейдоскоп неоконченных дел и забот: нужно довести до конца соревнование на первенство общежития по стрельбе, помочь Колоскову подыскать временную — более легкую — работу, организовать торжественные проводы в армию братьев Дробязкиных. Ведь они — сироты, близких и родственников нет...

— А как же общежитие... без воспитателя?

Но Белых был готов к этому вопросу и без промедления ответил:

— У нас на примете есть человек. Толковый, коммунист.

Но и этим ответом Белых не снял тяжесть с души воспитателя. Уйти, покинуть парней своих, передать их какому-то «человеку»?...

Белых встал:

— Подумайте. Учтите, что члены парткома за вас — единогласно. И не огорчайтесь. Работа-то ваша будет с теми же общежитскими ребятами плюс остальная молодежь. Еще интересней!

«Все это правильно, товарищ Белых, все, наверное, очень правильно... — размышлял между тем Лосев. — Но уж так мы, люди, устроены: дорого до боли в сердце нам обжитое место и покидать его — большее вдвойне».

— Хорошо, я подумаю, — сказал он.

Белых протянул ему руку:

— Только учтите, организационное заседание — послезавтра.

На улице было солнечно. Лосев жмурился, но свернуть на теневую сторону не сообразил. Предложение

Белых ошеломило его. Должность комсорга не пугала его, но щемило чувство обиды: «Я ведь только развернулся в общежитии, более-менее работу наладил — и все для того «человека». Каково было б самому Белых, если б он построил дом, а жить в нем стали другие? . .»

Лосев посмотрел на ручные часы, приближался конец первой смены. Скоро явятся ребята.

И он торопливо зашагал к общежитию.

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...



Сколько помню, в последние годы я редко приезжал по хорошей погоде. Ни капельки не веря в приметы, я убежден, что это чистое совпадение, и только. Потому что с доброй душой встречали меня и в метель жуткую, и в жару неносную, и в дождь проливной.

Конечно, приятней все-таки явиться посуху. И еще час назад я и предположить не мог, что будет иначе. Да осень есть осень, хотя только конец сентября: капризничает погода, а солнышко за лето, видать, приустало, и ему лишь когда-никогда позволяют погулять-посветить.

Можно было б еще побродить по перрону — до отхода электрички Курск — Орел оставалось минут пятна-

дцать, — но уже накрапывало, и я вошел в вагон. Свободных мест было много, и я сел на первое попавшееся — лицом по ходу поезда. Это моя страсть — смотреть в окно поезда на набегающие будки, мосты, виадуки, переезды и просто на некичливые наши, русские виды. А еще люблю высчитывать, за сколько поезд пробегает каждый километр. Мелькнет указатель, и я про себя, не спеша, выдерживая секундную паузу, загибаю пальцы: «Раз, два, три, четыре...» До следующего километра. А там сначала начинаю.

Приспособил небольшой чемодан на полочку, вытащил из кармана плаща свежую «Курскую правду», купленную на вокзале. Чтоб время быстрее шло, дай, думаю, займусь чем-нибудь. Не успел, однако, развернуть газету, как передо мной возникла женщина.

— Ну-ка, примись, я сяду, — бесцеремонно приказала она. Было ей лет тридцать пять: лицо молодое, здоровый румянец на вздутых щеках, но, укутанная в два платка — один легкий, простой, другой — размером с шаль, — она казалась старше на добрый десяток лет. Женщина держала в руках несколько пряников-рыбок, коржик и бутылку сидра. Догадался, что она выходила на перрон за этими, должно быть, гостинцами, а я занял ее место. Не перечая, уступил его, перейдя на противоположное сиденье.

— То-то, — недовольно буркнула женщина и, сняв с крючка сетку с плохо завернутыми белой тряпицей буханками — выглядывали уголки, — принялась засовывать в нее покупки.

Народ в вагоне был в основном деревенский — с кошелками, мешками, сетками. Кроме прочего, каждый хлеб вез, батоны с косыми румяными полосками на верхней корочке. Это уже заведено так: из города гостинцев везти. Можно, правда, как та женщина, место которой я

неосмотрительно занял, еще и пряников подкупить, — у кого детишки есть, им побаловаться.

А вообще-то крестьянин мудр и нерасточителен, для него нужнее и важнее всяких сладостей, конечно, хлеб. Свежим, еще хранящим тепло пекарни, его порежут на аккуратные ломтики. Ломтиков столько, сколько в семье едоков. А их пятеро, скажем. Получай каждый по ломтику, остальные полбуханки — на завтра. Ешь свою порцию, как хочешь. С похлебкой? — пожалуйста. Но лучше всего после обеда смаковать духовитую, ноздреватую мякоть. Стараешься есть подольше, чтобы не опередить сестренку. Иначе завидно будет: у них хлеб еще остался, а ты, нетерпеливый, теперь сиди и глотай слюнки, заглядывая в рот сестренкам.

Впрочем, это я из детства своего. Сейчас городской, «коммерческий» хлеб для ребенка — обыденная еда. Своего не пекут — то мукой не запаслись, а на трудодни нынче только деньги дают, то просто из-за нежелания время терять, тогда как можно десяток буханок из города привезти — и неделю-полторы сыт. И нет деревне дела до того, что горожанам порой хлеба не достается, хоть и в полную силу, круглосуточно, без выходных работают хлебозаводы.

Нашли было торговцы выход — по две буханки на руки стали давать. Так ведь это дураком надо быть, чтобы не суметь обойти такое постановление. Приезжая тетка раз встанет в очередь, другой, третий — сколько надо, столько и купит. Кошелку ее в это время у входа в магазин кто-нибудь из своих же, деревенских, сторожит.

Пишут вон, что кое-где пекарни строят прямо в колхозах, или районы деревню хлебом снабжают. Так это ведь кое-где. А пока разумная деревня предпочитает лучше потерять день и съездить в город, чем самим

затевать нелёгкую хлопотную выпечку (многие к тому же и дома-то теперь строят без русской печи).

Но отвлекся я.

Машинист еще раз проверил тормоза, и вагон качнулся. Тронулись.

Последним к нам вскочил железнодорожник со своим неизменным фонарем в одной руке, с потертой хозяйственной сумкой — в другой. С дежурства, должно, возвращался.

Дождь-косохлест то усиливался, то почти переставал.

На стыках рельс вагон бросало из стороны в сторону. Ощущение было такое, будто ты на каком испытательном стенде для космонавтов. Чуть не опоздавший на поезд железнодорожник, достав из сумки бутылку пива и ловко открыв ее о железную ручку над спинкой сиденья, попытался пить прямо из горлышка, но на одном из стыков вагон еще раз качнуло, бутылка клацнула железнодорожника по зубам, пиво пролилось на подбородок. Пришлось отложить это дело до выхода поезда на прямой путь.

Город удалялся за синей дымкой тумана. Собственно, города почти не было видно, мелькали одни пристанционные постройки и одноэтажные дома прижимавшихся к насыпи улиц.

Ехали не ехали, железнодорожник только бутылку успел опорожнить, причмокнув от удовольствия лоснящимися губами, а уже остановка — пост какого-то километра (сто раз ездил по этой дороге, а наименований этих постов не запомнил — уж больно сухие они у них, безликие). Минутная стоянка, человека два сошло, столько же село — и дальше покатили.

Следующая — Букреевка.

Потом — опять пост.

После этого, второго поста, — Свобода. Перед Свободой у меня замерло сердце, я прилип носом к холодному стеклу, сам понимая, что в такую непогоду не рассмотреть маленький городишко, находящийся к тому же за пять километров от станции. Ясным-то днем отчетливо видна из вагона стоящая на высоком холме, чуть в стороне от городка, знаменитая церковь, куда на троицу приносят икону божьей матери. Сначала икону по дороге из Курска доставляют к якобы чудодейственному источнику на берегу Тускари, где скапливались тысячи паломников (помните репинский «Крестный в ход в Курской губернии?»), а потом несут ее в церковь.

Отчетливо бывают видны при нормальной погоде и белокаменные корпуса бывшего монастыря, а вернее — бывшего специального ремесленного училища, где обучали нас, послевоенных круглых сирот, токарному и слесарному делу.

Сейчас там училище механизации сельского хозяйства. Слышал, что до сих пор работает в нем бывший наш воспитатель, танкист-фронтовик Иван Николаевич Конев. Мастером будто бы работает.

Суровый он был мужик. На вечернюю линейку, случилось, опоздаешь — пиши объяснительную, постель как следует не заправишь — объяснительную, козырек у форменной фуражки укоротишь — объяснительную. А уж если самовольно домой в выходной день удерешь, вдобавок к объяснительной еще и месяц не будет брать на стрельбища из малокалиберной винтовки. Для нас, подростков, страшной наказания и придумать было нельзя.

После, когда расставались, он, вообще-то добрый человек, каждому из нас по пачке объяснительных вернул: «Не показывал я их директору, для острастки писать составлял...»

А разве забудешь его бесконечные рассказы из жизни

танкистов! Сколько вечеров просиживали мы в красном уголке общежития, слушали, разинув рты, воспитателя! Он закончит одну историю, передохнет. «Устали?» — «Не-ет!» — «Ну, тогда про то, как я горел — и вечерняя линейка».

Свобода... Закадычный училищный друг Василь Сахаров...

Нас распределили после выпуска в разные города. Не сумев наладить переписку с самого начала, мы надолго потерялись. А точнее — на шестнадцать лет.

Недавно встретились. Узнать-то узнали друг друга сразу, а как изменили, однако, нас годы! Василь, помню, был выше меня, а теперь мы одного роста. Потучнели оба, у обоих вторые подбородки обозначились. Только чуб у Василия прежний — жесткий, как щетка. Ну, а я лысею потихоньку. Василь вольнонаемным мастером в колонии строгого режима работает, я же изменил своей профессии слесаря.

— Свобода, — вспоминал вечером Сахаров, — альма матер наша!

Мы сидели на кухне его уютной двухкомнатной квартиры, уставшие от разлуки, и без конца говорили, говорили. Уже спала его пятилетняя дочь, ушла отдыхать и жена — завтра рано на смену. У нас еще было вино, стояла нетронутая банка со шпротами, остывала тушеная картошка, соблазненно подмигивала с тарелки белыми глазками сухая колбаса. Мы давно уже насытились, но нам не до сна.

Иногда мы ненадолго замолкали — чтобы вспомнить какую подробность.

— Устал в дороге? — спросил после одной такой паузы Василь. И, не ожидая ответа, сказал: — Ничего, отоспишься... — И в который раз повторил: — Нет, ты помнишь, как мы с тобой сошлись в свободинском РУ?

Как не помнить? Не обидел бог памятью.

...Из столовой я вышел, наевшись до боли в животе. Дома так сытно я наедался разве что на рождество, когда холодца вволю бывает. В остальное же время главная еда — мичуринка, как у нас в деревне называли почему-то картошку. А тут, в училище, хлеба вволю дают. А котлеты с чесноком чего стоят! А гуляш! Подлива до того вкусная, что тарелку языком бы вылизывал. Да стыдно: подумают ребята, что обжора.

Едва, значит, захлопнулась створка столовской двери, как передо мной возник щуплый, неопрятный, замызганный «старичок» (так мы, новички, называли учеников второго — четвертого годов обучения). Отводит он меня в сторонку и тихонько спрашивает:

— Закурить е?

В карманах курева я не держал, — боялся Конева, а вот в правом носке у меня был спрятан табачок, завернутый в маленький белый лоскут, а в левом — десяток спичек и «терка» — обломок спичечного коробка. Табаку было закрутки на три-четыре, и хранил я его не для того, конечно, чтобы угощать первого попавшегося «старичка». Я и ответил ему — Замыцкий была его фамилия, как после узнал:

— Нету закурить.

— Дай проверю.

Фю, думаю, проверяй, все равно не догадаешься в носки заглянуть.

Замыцкий в один карман полез — ничего, во второй, понятно, — ничего. Впрочем, смотрю, он все-таки что-то вытащил и зажал в кулаке. Ах, вспомнил, у меня три рубля там лежало! Сестра, что привозила меня в училище, на всякий случай дала.

Я схватил Замыцкого за руку:

— Отдай!

— Чего? — вырвал руку Замыцкий. — Сгинь!

— Отдай, — не отставал я, чуть не плача — жалко все-таки трояк.

— Сгинь!

И тут подошел Василий Сахаров. Он из столовой вышел вслед за мной и наблюдал всю сцену. Видя явную несправедливость, он схватил Замыцкого за шиворот:

— Что взял?

Замыцкий вырвался, бац Василя по скуле своим костлявым кулачком. За незнание неписаного закона: новичок не имел права перечить «старичку».

— Ах ты, вонючка! — вскипел Василь. — Ты еще кусаться смеешь? — Скрутил Замыцкому руки сзади — Василь намного сильнее был, — трояк отобрал, мне вернул, упрекнул при этом: — А ты боишься этого сморчка. — И поддал Замыцкому коленом.

Желая отблагодарить Василя, я даже закурить ему предложил, да он отмахнулся:

— Не курю. Раз пробовал — вырвало. . .

А через полчаса его поколотили «старички». Их было трое, четвертый — Замыцкий. Вывели они Василя за общежитие и устроили самосуд. Замыцкий все в пах ботинком норовил попасть. . .

— Смотри-ка, помнишь, — оживился Василь, — Можешь себе представить, недавно я встретил Замыцкого — к нам попал. Уже третья судимость.

Свобода. . . Надо бы как-нибудь провести ее. . .

А между тем хриплый мужской голос в репродукторе объявил мою станцию. Ну да, подъезжаем. Вон уж справа замелькали островки Визового леса, а слева виднеются макушки деревьев Круглого леса, приютившегося на склонах широкого некрутого лога. В Визовом ягод летом много, мы, бывало, всей деревней туда ходили. Я заблудился.

дился однажды там. И не мудрено: лес густой, на много километров тянется.

То ли дело Круглый! Безъягодный, зато не заблудишься — гектаров пятьдесят всего. Доверчивый лес, домашний, там мне каждый куст знаком. Опять же в августе орехов в Круглом много, удочки там растут — залюбуешься: ровные, длинные, гибкие!

Ну, неразлучный чемоданчик, слезай с полки, прибыли!

Станция наша, говорят, находится на самой высокой точке Средне-Русской возвышенности. Об этом, правда, из здешних жителей мало кто знает, а узнает, не удивится: та самая точка и до трехсот метров не доходит, какая там достопримечательность?

Местный житель другое вспомнит. Вот бои, скажет, у нас шли в прошлую войну знаменитые. Две стали сошлись тут: наша и немецкая. Черной молнией вспарывали небо горящие самолеты. И стрельба, стрельба, стрельба... Взрывы, взрывы, взрывы... Ни одной хатенки не осталось, ни одной печной трубы.

Только тополя, что возле вокзальчика, чудом уцелели. Лет пятьдесят уже стоят они недлинным рядком, ветвями сплелись, будто взяли за руки. Выдюжили тополя войну и прочие невзгоды и теперь могуче стоят на самой высокой точке.

Это я к слову о станции.

Что касается дела, то я пока стоял в зале ожидания неказистого послевоенного вокзальчика и размышлял, как быть дальше. Мелкий дождичек усилился, а до моей Хорошаевки добрых три никем не мерянных километра. Промокну, да и скользко, чернозем раскисает быстро, липнет к подошвам, будто смола. А мне через бугры да ямы топать. Чего доброго, и упасть можно.

Придется нагрянуть к тетке Маруське. Она с недавнего времени — лет пять как — на станции живет. Сын Шурик сманил: «Чего ты одна в деревне не видела? Продавай хату, переходи ко мне, будешь детвору нянчить».

Посоветовалась со старшим сыном, Колей, что в Донбассе, он поддержал Шурика. «Надоест, — писал, — у Шурки, ко мне приезжай пожить».

Делать было нечего — продала.

Я видел тетку Маруську в свой последний приезд — два года назад. Не жаловалась на Шурика или там на невестку, нет, ничего такого не говорила. Только вот «гриптится», сказала, скучаю по Хорошаевке. Не терпится узнать, что нового в деревне. Как хата? Берегут ли ее новые хозяева? И что они сеют там, где раньше у тетки Маруськи бахча была? ..

Да, пожалуй, это лучший выход: переждать, зайти к тетке Маруське. А завтра — или на Шуриковом велосипеде, как в прошлый раз, или пешочком, если дождь перестанет и малость подсохнет.

Да и проведать все равно нужно тетку Маруську. Вот и убью двух зайцев.

И, приподняв воротник плаща, я нырнул из вокзальчика в холодную морось.

Я люблю, приезжая, заявляться без стука и, удивив своим внезапным появлением, сказать принятое у нас в деревне приветствие:

— Здравствуйте вам!

Не изменил я этой привычке и теперь.

Сняв на веранде туфли и надев чистые галоши, стоявшие в уголке, я тихо приоткрыл дверь и оказался в прихожей.

— Здравствуйте вам!

Тетка Маруська вздрогнула от неожиданности, уронила клубок с колен — она вязала, сидя у стола.

— Глянь-кя-я!

Отложила спицы, вышла навстречу:

— Здравствуй, здравствуй! .. С рабочего?

— С него.

— Ну, раздевайся, промок, должно, увесь.

Она помогла стащить мокрый плащ, унесла его на кухню и там повесила сушить над плитой. Вернулась скоро — маленькая, подвижная, такая, какой я ее помнил и десять и двадцать лет назад. Ее так в деревне и звали — заводная: делала она все быстро, ходила чуть ли не бегом.

— Можя, штаны намокли, так в Шуркины переоденься. .. А я позавтракать приготовлю.

Родней я тетке Марушке приходился дальней: ее покойный муж был мне троюродным дядей. Ну, да наш Клепинский род слыл завсегда дружным, каждый двор знался даже с теми, кто приходился ему седьмой водой на киселе. Знался и привечал. Когда мои три старших сестры разъехались из деревни и мы продали свою хату, я четыре лета подряд — все ремесленные каникулы — проводил у тетки Марушки. Относилась она ко мне по-матерински, берегла, за водой сроду не заставляла ходить — лишь бы не побеспокоить меня. ..

Мы сидим на кухне. Она проворно чистит картошку изрядно сточенным ножом, время от времени заглядывает в плитку — разгорается ли уголек?

— Вот приехал. .. — как бы в оправдание говорю я. — В отпуске был, на юге. Неделька еще осталась, дай, думаю, загляну.

— Ты молодцом, не забываешь своих. Наш Коля тоже так: поездить-поездить по домам отдыха, а в деревне

побывать все одно гриптится. Приедить, всех сродственников обойти...

— Он кем сейчас, Коля-то?

— Ды этим — как его? — парторгом на шахте. Техникум окончил, счас в институту учится... Орденом наградили...

Тетка Маруська с удовольствием рассказывала про Колю, старшего своего, видно было, как искорками загорелись ее маленькие глаза — гордилась, что стал ее сын вот таким видным человеком.

— А Шурик? На заводе по-прежнему?

— Ушел. Не сработался с мастером. Знаешь ведь Шуркин характер: любить правду доказывать. А правда часто и есть то, что ему неправдой кажется... Далеко Шурке до Коли. Счас в кочегарке работает... Ну, что еще? Анька его в магазиня, продавцом, ты мимо проходил. Дети — Наташа в четвертый класс ходить, Таня — во второй. Счас в Визовое ушли, за дикими грушами... а младший, Сережа, у соседей... Ой, горе с ним было этим летом. Чуть не обварился. На кухне, тут-та вот, чугунок с кипятком стоял. Ну, я суп готовила, Сережа игрался на полу. Потом он как попятился — ды в чугунок. Ой, крику было! Думали — не выживать... Баловной дюже малай... Ну, а я вот тут по хозяйству топаю.

— На пенсии?

— На какой там пенсии? — Тетка Маруська понизила голос, — наклонилась ко мне: — Возраст-то подошел, а не получаю.

— Как же так?

— Ды так. В исполкомья говорить: «До пенсии не доработала». Уж сказали бы лучше, не дожила... Так это жа неодинакова.

Мне была понятна обида тетки Маруськи, да чем ей мог помочь? Разве что утешить, перевести разговор?

— А куры во дворе, утки — ваши?

— А чий ж? Без кур нельзя. А утят — забота одна. Нам тут соседи дали шесть штук утиных яиц, ну, мы их и подклали под курицу. Усе и вывелись, уцелели, возля колонки усе лето барахтались... А жрут, враги, не успеваю готовить. Тяжело тут уток держать, надоедают. Что и говорить — без речки. В Хорошаевке — другое дело.

Тетка Маруська уже поджарила на широкой сковороде сало и теперь бросала в расплавленный жир порезанную тонкими кружочками картошку. Сковородка шипела, брызгала жиром и затихла лишь тогда, когда тетка Маруська насыпала картошку целой горкой и сверху прикрыла глубокой эмалированной миской.

Потом она фартуком вытерла табуретку, над которой чистила картошку, и присела передо мной, видно, не чая посвятить меня в какую нерядовую новость. Уронила руки на колени.

— Вот что скажу еще, милый. Сенька-то мой — жив.

— Ну?

— Да. Колбаиха летося ехала с Ростова от дочери, ну и встретила его в вагона. «Здравствуй, — говорить, — Сень!» А он: «Здравствуйте, только вы обознались». А она: «Ды как же обозналась? Вот и подбородок у тебя раздвоенный, и шрам на уху... Сенька ты, Маруськин муж! Как же тебе не совестно укрываться?» Ну, он не выдержал, ушел с вагона... Как рассказала мне ето Колбаиха, я чуть в обморок не упала. Сначала не поверила, не можить быть, чтобы Сеня не вернулся к семье, он тах-та детей любил! Да и меня, и отца покойного... Можа, обозналась, говорю Колбаихе? А она одно: «Не веришь? Да таких случаев, Марусь, сколько хочешь. Вот Ефимка из Болотного...» И надломилось мое неверие: да, ето точно, что Ефимка где-то в Шиграх

осталси. Можа, думаю, какая и Сенькю моего окрутила... Ну, поехала в военкомат. А там говорить: «Поддавайте на розыски». Написал Шурка в Москву. Проходить время, присылают с Москвы: «Сержант Клепин Семен Кириллович погиб в 1944 году». Дыть и в похоронной так было. Обозналась, думаю, Колбаиха, точно обозналась. Ну, отлегло было от души, плакать перестала. А прошлой весной — опять новость: Егор Гончаров Сенькю встретил. На вокзала, в Москве. И опять будто он сказал: вы, товарищ, обознались. — Тетка Маруська поворошила картошку ножом, голой рукой придерживая при этом горячую миску, и снова села, не выпуская из рук ножа. — Коля на этот раз на розыски подавал — то же самое ответили... А я вот живу — мучусь: можа, живой Сенькя, а можа — нет. Снова сниться стал... А Шурка ругаить: веришь-де всякой брехне, погиб отец.

Она поправила сползшую ситцевую косынку (боже мой, только теперь я заметил, что тетка Маруська сплошь седая!), привстала.

— Заговорила я, прости, милай. Надыть уж стол готовить.

— Не беспокойтесь, я не голоден.

— Ды уж! Кто тебя кормил? В буфета небось перехватил! Вот счас картошка поджарится... Ну, а ты как поживаешь?

— Хорошо.

— Там же, на Ураля?

— На Урале.

— Далеко тебя занесло.

— Ну ваша-то Соня еще дальше — в Томске.

— И то верно. Полкласса их по путевкам уехало. Тожа в отпуск сулятся. Можа, к Новому году отпустить... Ты-то у деверя, у Федора Кирилловича, остановишься?

— Наверно.

— А лучша у Дуни. У нее вторая половина хаты пу-
стуит, за двести рублей ее выкупила.

Это известие было новым для меня. Дуня давно жила одна — дети поженились, муж умер — и вторую поло-
вину пятистенки после раздела занимал ее неродной сын
Петр с женой и дочерью. А когда Петр взял развод, быв-
шая его жена немного пожила тут, а потом вернулась
к матери в какую-то дальнюю деревню, оставаясь, одна-
ко, хозяйкой половины дома и огорода. И лет десять
здесь жили разные квартиранты. Теперь, значит, Дуня
выкупила полхаты.

— И никто в ней не живет? — не верил я.

— Нихто.

Да, пожалуй, тогда лучше остановиться у Дуни: ни
я никому мешать не стану, ни мне.

Впрочем, на месте будет видней, где жить. Знаю, что
без крыши над головой не останусь.

За окном мелькнула чья-то фигура.

— Ну вот и Шурка на обед идти, и картошка гото-
ва. Подсаживайси, милай, к столу, вот хлеб, вот огурчи-
ки, а я яишенки еще поджарю.

Не я первый, не я, наверно, последний пишу про по-
ездку в деревню. У одних лучше получается, у других —
хуже. Кто в толстый роман еле уложится, кто в корот-
кий рассказ.

Я не скажу, что меня постоянно терзает чувство раз-
луки с деревней — привык давно к новому месту житель-
ства. Но вот однажды бессонной ночью заболит тоскою
сердце и тебе неотразимо захочется увидеть ту землю,
где тебе дали имя, где ты сделал первый шаг, где ты
учился, стерег гусей, дрался наконец до крови с намного

сильнее тебя сыном старосты. Отсюда потом, прихватив мешочек с едой, ты отправился на первый в своей жизни поезд. . .

И вот такой ночью ты твердо решаешь: будет отпуск — обязательно заеду в деревню. «Да кому ты там нужен, кто тебя ждет? — станет отговаривать тебя жена. — Ну, были б мать-отец или родня близкая, а то одни троюродные да просто однофамильцы. . .» Ты выслушаешь эти не лишённые рассудка речи и скажешь: «А мне лишь бы глазком на деревню взглянуть, я за день могу управиться и никому лишних забот не причиню». Скажешь, зная, что никто даже из «просто однофамильцев» не откажет ни в куске хлеба, ни в ночлеге.

Права вчера была тетка Маруська, когда сказала: «На завтра радио хорошую погоду обещало — сама слышала». .

Да и конец сентября в нашем крае — еще не время тоскливой осени. Хотя и нет уже привычной теплыни, но солнце, бывает, так припечет, что хоть в одной рубашке ходи.

Дорога моя — по-над Круглым лесом. Тропинка утоптана, отполирована подошвами до блеска. По краям расселись жирные подорожники. Встречались еще цветущие поповник и сорная трава хлопущка. Холодно по-сматривал из кустов ядовитый вороний глаз.

Сейчас в лесу — самая золотая пора. Еще, правда, зелен и крепок лист на дубах, но клены уже пожелтели, шоколадно отливают листья груш-дикарок, пламенем вспыхнул и вот-вот начнет осыпаться осинник. Только орешник поспешил сбросить свою шершавую листву, и торчат теперь его голые ветки, будто отживший свой век сушняк.

Я свернул с тропинки на выбритую косой поляну, поставил чемодан и вошел в кустарник. По листьям бересклета и шиповника сонно ползали красными капельками бесчисленные божьи коровки. Опавшие листья свежо шуршали под ногами, ступать было мягко, как по ковру. Желтое царство окружало меня, тихо лепетали молодые осины над головой, и казалось, что мир и покой никогда не покидали эти края, что не обезображивали лицо этой земли черные когти войн и нашествий.

Так не было, но очень хотелось, чтобы было в будущем. . .

Но пора идти дальше. Я снял плащ — становилось все теплее, повесил его на плечо и зашагал по глубоко вдавленной тропинке. По ней, наверно, когда-то ходили и деды мои, и отец с матерью — все давно уж покойные. Бежит тропинка передо мной, словно ниточка, по которой я из любой точки планеты найду путь в маленькую родную Хорошаевку.

Кончился лес, тропинка спустила меня вниз, а через полтора шага подняла на крутой бугор, на вершине которого по обыкновению останавливаются отдохнуть запыхавшиеся от подъема пешеходы.

Дальше дорога — через неширокое поле, засеянное нынче коноплей. Я удивился: конец сентября, а конопля еще на корню, только один небольшой квадратик — гектара полтора — был выкошен (сейчас коноплю догадались косить), и над ним висел черный вороний грай. «Что-то запоздали мои землячки с уборкой, — невесело подумал я. — А после грачиного обмолота тут комбайну делать нечего».

Спустя несколько минут я увижу еще большие плантации конопли — по обе стороны Хорошаевки. Правда, здесь конопля скошена, повязана и поставлена в порядки, похожие на наступающую широким фронтом армию,

Над деревней стоит сплошной перекатывающийся грачинный ор. Все небо в черных пятнах грачей, кажется, что они даже застыли солнце и из-за них на землю падает меньше света.

Через несколько часов я выскажу свою боль за гибнущее добро троюродному дяде Федору Кирилловичу, и он разделит ее: «Конечно, безобразия. Дык и летося тоже так было. Пропадут конопи, кострика одна будить — бабам яишню жарить. Дожди вот пойдут — погниеть... Сейчас все на свеклу брошено...»

Как и всякий городской человек, начитавшийся сельских проблемных статей и фельетонов о равнодушных бесхозяйственных председателях колхозов, я возмущусь и даже дам себе слово написать об увиденном куда надо. И может, по наивности своей написал бы, не встретясь через несколько дней с колхозным механиком Славкой Калужских. Он убил одним неоспоримым доводом:

— Да, конопля у нас на втором плане, на первом — свекла. Туда направлены все люди, вся техника. Суди сам, почему. Закупочная цена центнера свеклы — три рубля сорок копеек. За сверхплановую сдачу — пятьдесят процентов надбавки, по пять рублей десять копеек, значит. Кроме того, ботва на силос идет, нам отпускают по льготной цене сахар, патоку... А от конопли — никакой выгоды. Ее и сеют-то немногие теперь в нашей области, знаю, всего четыре-пять районов. Закупочная цена на нее упала — видимо, не очень ценится волокно, да и зерно... Опять же трудоемка конопля, механизации мало...

Я в принципе соглашусь со Славкой, одноклассником бывшим, но не пойму одного:

— Зачем ж тогда столько сеять конопли?

Славка разведет руками: установка...

А далась мне конопля, видимо, вот почему. По дороге на юг я заскочил на несколько часов к старому московскому другу. Ну, понятно, стол накрыли. Друг меня угощал конопляным маслом — ему из Белоруссии прислали. О чудо! Я и сейчас еще ощущаю его неповторимые запахи и вкус.

Ну, мы и посетовали тогда: мало-де такого масла почему-то стало, незаслуженно коноплю с полей изгоняют. Я еще в этот раз вспомнил, как мы после войны толкли в ступе конопляное семя и потом перемешивали эту ароматную кашу с картошкой. Вкусно было — за уши не оттянешь!

И вот, оказывается, конопля нынче не ценится.

Впрочем, я не специалист в этом деле, и, может, ученые люди действительно подсчитали, что выгодней выращивать более урожайные и более полезные масляничные культуры...

Занесла, однако, в сторону эта конопля. Вот уж Хорошаевка передо мной. Сейчас только перескочу через мосточек, выйду на крутой берег — и деревня. Здравствуй, родина! Вот и я...

Дуня дала мне кусок мешковины, старую цебарку, и я приступил к уборке. Два года никто в хате не жил. На окнах, на потолке — сплошная паутина с черными точками попавшихся в нее мух. Я веником обмел стены, потолок, поскреб лопатой пол перед тем, как его мыть.

— Э-э, — в который раз говорила мне Дуня, — пожил бы лучше у меня. Я б на печке, ты на кровати.

Ну, а я рассудил иначе: чего зря старуху стеснять, на печь выживать ее? Я тут поселюсь, в свободной половине. Вон даже стол, умывальник у меня будут — от прежних квартирантов остались, а что грязь — так это не беда.

Не белоручкой, чай, вырос, полов я в своей жизни перемыл не один гектар, а тут всего какая-то комнатка.

И я еще раз сказал Дуне:

— Мне, тетя, здесь удобней.

— Ну, смотри. . . Тада я побежала к Павлику за раскладушкой.

Вода в ведре ключевая, обжигает руки — пар от них. Я неистово тру тяжелой мешковиной ни единожды не крашенный пол, на котором комками засохла двухгодовалая грязь. Тут мало один раз помыть его — нужно несколько заходов.

Ведро за ведром носил я — благо не к колодцу бегал, а к колонке Дуниного соседа — Васьки Хомяка. Эту колонку он недавно сделал. Сам трубы достал, сам буровую машину нанял. Ну, может, не нанял, а договорился с кем — Хомяк в снабжении работает на заводе тракторных запчастей, что на станции. Как бы там ни было, а удобней заодно с Васькой Дуне стало. Не нужно теперь таскать за сто метров воду от колодца.

Руки колет холод воды, а по лицу течет горячий пот. После второго захода доски побелели и стали приобретать вполне приличный вид. Вот сейчас еще растоплю плитку, обогрею свое пристанище и буду жить как кум королю, сват министру. . .

Дуня стоит у дверей, смеется:

— Нашел себе работенку! Возьми-ка вот постелю свою, — втаскивает раскладушку, связанную тонкой белой тесемкой.

— Уже сходили? — удивился я скорому возвращению Дуни.

— Дык носят-то ноги еще. Ну, домывай, а я дровишек да уголькю пока принесу. — И заспешила на улицу, согнутая, как подкова.

. . . Дуню в нашей деревне еще звали и старовойкой.

В детстве смысла этого слова я не понимал, но знал от взрослых, что Дуня ходит молиться другому богу в другую церковь. А когда — еще в войну, в сорок третьем, вскоре после смерти моей матери — умер от скарлатины ее десятилетний сын, его хоронили не на нашем кладбище и не с нашим попом.

А больше она ничем не отличалась от хорошаевских баб: всю жизнь в заботах. Да еще умела дорогого гостя приветить, а на плохого человека — ругнуться не хуже мужика.

Привел Дуню в нашу деревню откуда-то издалека овдовевший мой дядя Емельян Иванович. Трое детей с ним остались — Петр, Оля и Надя. И вот Дуня пошла на троих, не испугалась. Женщиной она оказалась оборотистой, с хозяйской хваткой. Емельян Иванович был учителем, деньги в семье водились, и Дуня их куда зря не тратила, детей не забывала лучше одеть-обуть. И когда в тридцать третьем свой народился, не выделяла его среди неродных. Ну, может, поцелуем там лишним одаривала, а так все поровну между детьми делила.

Жила когда-то вот в этой пятистенке дружная семья. А минули годы — одна Дуня осталась: вслед за родным сыном Олю похоронили, а в пятьдесят пятом и Емельян Иванович помер. Хороший был человек, газет много выписывал. Учил он не в нашей школе и, наверно, потому закурить мне иногда давал. «На-ка, — бывало, скажет, — сосед, два яйца и сбегай к Колбаихе за табаком». Ну я — с радостью. Выменяю стакан табака, по дороге щепоть-другую заверну в лопушок и припрячу, а Емельяну Ивановичу отдавал его с таким видом, будто и не видел, какой он, табак. И нарочно долго топчусь, глаза горят, как у голодного, который видит булку за стеклом. Ну, Емельян Иванович и одарит самокруткой за услугу.

Вышла замуж Надя, женился Петр — и осталась

Дуня одна. Одна спать ложится, одна встает, одна завтракает, обедает, ужинает, одна горюет и радуется — кругом одна. Страшно, должно, это. Потому, когда я, бывало, приезжал из училища на каникулы и жил у тетки Маруськи, она ревностно выговаривала мне: «Ай хуже кормила бы, ай работать заставила, если б у меня побыл?» Ей хотелось хоть на время ощутить в своем доме человека, с которым бы можно и словом перекинуться, которому хотелось бы блинцов напечь, чай с мятой заварить, а если того гость захочет, то и чарку поднести. Слава богу, водочка-то у тети Дуни всегда водилась. Двух сортов притом: на продажу и для своих — для близких и желанных людей.

Потому теперь Дуня приветила меня как нельзя лучше. Она даже как-то преобразилась вся, ожила, повеселела. Помогая мне устраиваться, забыла про поросят своих — визжали они, некормленные, а она и не слышала.

За обедом, будто извиняясь, робко налила мне вишневой настойки и сказала, величая меня на «вы»:

— Вы уж, детка, не серчайте, нынче крепкого не держу — строго насчет этого.

Сама жевала беззубым ртом хлебные крошки, а меня все подбивала на яишницу:

— Вот тут берите, если сало не любите, или вот тут — желток еще светится. Оля такие всегда заказывала. — И все ближе сковородку пододвигала, все ближе...

Хаты нашей давно уже нет, а Валя Беженка (в деревне у нас и старых и малых по именам зовут), что купила ее у нас, новую построила на месте бывшей пуньки. Спилены высоченные ракиты, отделявшие усадьбу от дороги (где же теперь селятся горлинки?), вырублен

огромный куст бузины, из ягод которой сестры делали себе ожерелье, нет березы, где я в пятом классе повесил скворечник. Только сад еще уцелел. Да и то изрядно поредел, постарел; кора на стволах местами отстала, оголив серое, источенное разными вредителями тело.

Я брожу по саду, я пришел на свидание с ним, мне хочется побыть возле каждого деревца, послушать его...

Вот с той приземистой антоновки, стоящей особняком, — рядом с бывшей хатой, — я боялся срывать яблоки. Думал, если я съем, то умру. Эта боязнь берет начало, наверно, с августа сорок третьего. Тогда под яблоней стоял гроб матери. Мать только что привезли из Курска, куда ее — за пятьдесят километров — возили на телеге рожать. Всех-то нас она дома на полатах родила, а последний ребеночек лежал у нее поперек. В больнице ей, измученной долгой тряской дорогой, сделали операцию, но мать после наркоза в себя не пришла.

Так вот, пока прибирали в хате, гроб стоял под яблоней. И мне, четырехлетнему, казалось, что раз мать мертвая, значит, и все, на что она дышит и смотрит закрытыми глазами, будет мертвым или станет ядовитым.

Подрастал, а та боязнь не проходила...

Дальше стоит титовка. Она щедро плодоносила каждый год, яблоки под осень наливались крупные, сладкие, сочные и рассыпчатые. Сами мы их не ели, а старшая сестра возила их в район и продавала, покупая на выручку нам обновки. Под титовкой густо росла жигука — мы ее специально не скашивали, сторожила она нашу чудную яблоню от возможных ночных налетов деревенской ребятни. Сейчас под титовкой вскопано — видно, всю отдала она себя людям, не надо теперь бояться, что кто-то оборвет ее.

На соседней с титовкой антоновке я выбрал себе один горизонтальный сук и любил раскачиваться на нем как

на турнике. Однажды, повиснув на ногах вниз головой, я не удержался и больно ударился позвоночником. Ходил с неделю, корчась от боли, но не говорил, что со мною. . . С тех пор я не люблю и даже побаиваюсь турников, и когда вижу, как на них занимаются другие, холодею: а вдруг позвоночником. . .

Посреди сада стоит груша. Когда-то, еще до моего рождения, во время налетевшего урагана ее разломило пополам. Один сук упал, другой, вот этот, уцелел, выдюжил. Не очень баловала груша урожаями — коры всего-то полствола на ней, но зато вызревала рано. Мы, боясь, как бы она не упала, не залезали на нее, не трясли, а терпеливо ждали, когда она уронит на землю очередной созревший плод. И до чего ж досадно было, когда, ударившись о какой-нибудь камешек, груша вдребезги разбивалась. От нежного и сильного запаха текли слюнки.

Все так же крепка кора на яблоне-дикарке, выросшей в особицу на самой меже с Дуниным огородом. Ее не один раз еще отец прививал, и вроде бы прививка принялась, а когда в первый год цветения на ней выросли кислющие яблоки размером чуть побольше горошины, стало понятно, что обманула людей яблоня.

Росла дикарка как хотела, цвела как хотела, никто ее не беспокоил, разве что осенью, близко к морозам уже, соберут под ней полведерка малость пожелтевших яблок. Но и даже тогда сок их связывал рот, и ели мы дикаркины яблоки неохотно, просто потому, что других уже не было.

Хорошо сохранилась дикарка — как беззаботный человек.

В конце сада, перед огородом, росла высокая густая черемуха. Весной она становилась от цветения вся белой, днем над ней гудели изголодавшиеся за зиму пчелы, а

вечером там пел соловей. Соловья я никогда не видел, хоть и столько раз подкрадывался к черемухе, пытаясь разглядеть певуна. Случалось, соловья вспугивали взрослые ребята, которые тайно пробирались к черемухе, чтобы наломать душистых веток. А потом эти ветки они раздаривали девочкам, прицепив по несколько цветков над козырьками своих фуражек.

Нет теперь черемухи — есть только жалкий кустик. Впрочем, может, из этого кустика вырастет со временем новая высокая черемуха, под стать своей прародительнице?..

В войну наш сад, как и все соседние, был сильно изрыт. Здесь маскировались машины, пушки, солдаты вырыли зигзагообразные окопы, и нам — четыре года было, а помню! — запрещалось близко подходить к машинам и пушкам. Когда ушла от нас война, мы закапывали ямы и окопы. Но землю вокруг солдаты утоптали, связанную корнями травы, сбрасывать ее было тяжело и нудно. Так и остались они незаровнявшимися, заросли, а поперек бруствера окопа мы потом вырыли небольшой ровик, положили в него обод от автомобильного колеса и приспособились там варить в чугушке летом картошку на ужин.

С этих же брустверов на пасху, по первой нежной мураве, мы катали крашеные яйца.

Валя Беженка ничего здесь не варит, дети ее не катают яйца — тоже выросли. Да и окоп я нашел по памяти. Стерло время приметы минувшего с земли, только в сердце-то они и остались...

— Здравствуйте вам!

Я стоял на пороге, придерживая за самодельную проволочную ручку полураскрытую дверь.

Первой на меня глаза подняла тетя Варя. Федор Кириллович сидел на конике, вполоборота ко мне, голову повернул не спеша, как бы не очень веря, что кто-то вошел. А когда поверил, сразу ожил, быстро встал.

— Племяш, милый! А мы только что с Варварой тебя вспоминали: сулилси-де летом заехать, а уже осень давно. — Федор Кириллович полез целоваться, обнимать. — Проходи, раздевайся, за стол садись... Мать, принеси-ка чего-нибудь закусить.

Я повесил плащ на гвоздик возле двери, причесался у зеркала с отражением не лучше цинкового таза и сел на лавку. Федор Кириллович возвратился на прежнее место и уже сдвигал стаканы, чтобы разлить в них из полупустой бутылки синюю жидкость. Было видно, что Федор Кириллович уже попробовал сией жидкости, и выдавали это его поблескивающие глаза и малость заплетавшийся язык.

— Ты, племяш, извини, мы тут с матерью уже завтракаем...

На столе, кроме бутылки, стояла солонка — телеграфная чашечка с отбитой головкой, лежали выпитое яйцо, тонкие квадратики бело-розового сала, полбуханки городского хлеба.

Над коником — видно, для того, чтобы не вытирать стену спиной, — висел рисованный плакат: черная бездна, космонавт с вещмешком геолога за плечами шагнул в эту бездну — с полушара, символизирующего, наверно, Землю. А внизу подпись: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы».

Федор Кириллович сидел за столом в поношенной фуфайке, по плечу у него ползал паук. Казалось, он постоянно жил на Федоре Кирилловиче — до того вел себя смело и невозмутимо.

— Ну, как вы тут живете-можете? — задал я обычный вопрос.

— Как видишь, помаленьку. Стареем вот с матерью.

Вошла из сеней тетя Варя, в фартуке она принесла десяток яиц и выложила их передо мной.

— А можа, поджарить? Отец, так тот сырые любить.

— Я тоже сырые, не беспокойтесь.

Федор Кириллович пододвинул мне почти до краев наполненный граненый стакан — себе на два пальца всего налил.

— Ты, мать, выпьешь?

— Ну давай чуточку. За приезд.

Чокнулись, стали пить.

Тетя Варя с наперсток всего осилила, Федор Кириллович тоже не всю свою долю выпил — уже, должно, не шел ему самогон.

— Ну, ты всю тyani, — видя, что я никак не осмелюсь пригубить стакан, сказал Федор Кириллович. — Ты молодой, тyani.

Я закрыл глаза и стал лить в себя вонюче-щемяще-обжигающую жидкость. Где-то на середине стакана организм мой отказался все это глотать, и я закашлялся, еле продохнул.

— Уф!..

— Яичко бери, яичко, — спасал меня Федор Кириллович. — Без привычки всегда так...

— Сиди, отец, — укорила его тетя Варя, — это вы, мужики, привыкли, а городской к этой гадости в жисть не привыкнуть.

— У-у, городской! А в городе, думаешь, не гонють? Гонють, племяш, а?

— Гонят, есть такие. Без запаха делают, марганцовой как-то сивушное масло осаждают.

— Вот и в Чугуеве был я, у Ивана своего, там тожа

на стол не магазинную водку ставили, а из яблок. А ты, мать, говоришь. . .

По хате расхаживали поздние цыплята, они подбирали с земляного пола крошки, дрались, а один из них даже на стол взлетел.

— Кыш! — замахнулась на него тетя Варя.

— Пусть клюёт, — сказал Федор Кириллович и протянул ему на ладони хлебные крошки. — Мы, племяш, с писклятами, как с детьми, возимси, жалеем их. . . Никого у нас, кроме кур да поросенка, нет. Девки в Курска, Иван с Митькяй — в Чугуеве. Одни доживаем. . .

— Митька у Ивана живет? — поинтересовался я. С ним мы когда-то вместе гусей стерегли. Он был моложе меня года на три, но мы дружили крепко, по-настоящему. Я, бывало, заступался за него не раз. Сам Митька был слабосильным, ходил наклонясь вперед, — еще грудным упал с печи и повредил себе костреч.

— Митька-то. . . — выдыхая папиросный дым, протянул Федор Кириллович. — В общежитие его Иван устроил. Пусть, говорить, самостоятельно поживет. Трудно будить, говорить, нехай обратно в мой дом приходить. Оно и верно: можа, малый обкатается, в общежитии и женится скорей.

— Глянькя-ся, что скажу тебе, — вмешалась тут в разговор тетя Варя, тихонько похохатывая.

— Перестань, — прикрикнул на нее Федор Кириллович, видимо догадываясь, что хочет сказать тетя Варя.

— А что тут, отец, такого? Свои ж. . .

— Ну, валяй.

— Глянькя-ся, что скажу. Поехал наш отец к Ивану в Чугуев, ну, а я раз-два — бражку поставила. Дай, думаю, водочки выгоню ды спрячу ее, пока отца нету, — он ей и дня не даст постоять. Толькя выгнала — ровно четверть получилась, — чугунки не успела оскрести, как

сельсоветская девка заходить, поросят переписывать. Села она вот тут-та за стол, пишить, а сама зырь да зырь на чугулки. Попалась, думаю, оштрафують, не дай бог. Ну, ушла эта девка, я чугулки — в погреб, картошкой их присыпала, а четверть возля сарая закопала. Жду милиционера. До вечера подождала, нетути. А ну, думаю, пойду-ка проверю, цела ли моя четверть. Подошла к сараю, лозинкой — тык в приметное место. И обмерла: нетути четверти! Туда, сюда тыкаю — нетути. Тут я и вспомнила: когда закапывала, мальчишки по дороге проходили, они, думаю, чертенята, и сперли мою четверть, а кто еще?.. Ну, вертается отец, я ему все это и выкладываю. Он выслушал и говорить: «А ну, пойдём». Берет вилы — и к сараю. Тык — туда, тык — сюда, третий раз тыкнул — нашел бутыль. Нюх, видно, у отца. А я, тетя, сама спрятала, а найти не сумела... Эх, тут отец обрадовался! Я просила отлить половину, спрятать — вон уголь будем привозить, девкам картошку отправлять — усюду поставить надо...

— Ды девкам Васья Хомяк отвезет! — вставил Федор Кириллович. Рассказ, где он выглядел героем, ему, видно, нравился, и он довольно шурил глаза.

— Так и не дал отлить, — с упреком, но без зла продолжала тетя Варя. — Как паук к четверти присосался. Павлик тут с Хомяком вчера понаходили, совести у них нетути, всю и выгланули... Вот последняя бутылка.

Узнаю прежнего Федора Кирилловича! Мастер на все руки — сапожник, портной, столяр, печник, счетовод даже, — он жил беднее многих тех семей, где не было мужиков, именно из-за своей широкой души. Какая копейка когда-никогда перепадала ему, он не чаял ее пропить, собирая вокруг себя несметное число собутыльников. Пробовала тетя Варя его уговорить — да куда там! Мать-перемать, кричал, не твое дело, еще сунешься,

убью! Убить не убил, а ночевала по соседям тетя Варя вместе с детьми частенько. Одного младшего Митьку не трогал — жалел калеку.

Деньги пропивал — ладно: сам заработал, сам и пропил. Обидней семье было другое. Заколют, бывало, по осени поросенка — незваные гости тут как тут. «Варвара, жарь печенку!» — командует Федор Кириллович. Печенкой закусят, он снова: «Варвара, свежины поджарь!» Дети смотрят с печи, подперев головы руками, на загулявших мужиков, глотают слюнки, слушают, как отец похвалится: «Я, мать-перемать, в жисть скупым не был. Еште, не стесняйтесь, мужики, мы еще поджарим».

Полпоросенка, а то и больше, как не бывало.

А к полночи проспится, начинает шуметь: «А ну, вставайте! Иван, какого хрена развалился? Вставай, сапоги шить поможешь. Вас шестеро, а я один, попробуй прокорми такую ораву!»

Со временем устроились три дочери в Курске, Иван после армии тоже не вернулся — в Чугуеве женился, дом построил, Митьку потом забрал, и остался Федор Кириллович один с тетей Варей. Остепенился, конечно, не дебоширит, не шумит, но, если представится случай, не преминет показать свою прежнюю щедрую душу,

Бывает, расчувствовавшись, жалуется он на детей: редко приезжают-де, другие вон, посмотришь, отцам-матерям добра сколько понавозили, а мои... И взаправду всплакнет.

— Ну, племянш, потянем еще чуточку, — спохватился вдруг Федор Кириллович, — а то выдохнется. Ты матерю не слушай, одну бутылку она все-таки припрятала...

— Откудова?

— Оттудова. Как-никак, до шести считать умеем. А эта — пятая.

— О, черт старый!

— Во-во! Принеси лучше племяшу помидоров. Ты любишь соленые помидоры? Матери нельзя — желудок. И я не люблю. А насолили цельный напол. Кто есть будить — не знаем. Нынче лето засушливое было, помидоры уродились. А вот яблочки... Яблочки с воробьиное яйцо успели вырастить. Погорели.

— Видел.

— И капуста никудышняя была. Вот уж счас, осенью, те-та качаны, что остались, затвердели маленька.

— А поливать не пробовали?

— Поливать? Да, оно-то можна — речка рядом, а не принято у нас его дело. Привыкли на землю надеяться. Земля-то у нас — золото. Вот в етом году думали, картошки совсем не будить. А есть, уродила земелька-то, хоть и потеряли треть урожая, но и за его спасибо. Не будь у нас чернозема, можа, голодовка была бы.

Федор Кириллович любит пофилософствовать, по-рассуждать. Он мужик с умом, все знает о колхозе и колхозниках, его выводы не лишены логики, анализа, и поэтому Федор Кириллович — незаменимый собеседник. И он, в свою очередь, получает удовлетворение от своих рассказов — не всякий-то день расспрашивают про деревню, про речку, про коноплю, про род свой наконец.

Тетя Варя вскоре принесла большую миску, наполненную красными нежными помидорами. Поставила посреди стола, сама облизалась: больно соблазнительно горели помидоры.

— Попробуй-ка, что мы тут насолили, — сказал Федор Кириллович и сам первым взял помидор, осторожно, будто боясь расплескать огненно-красную мякоть.

Речушка Снова делает возле нашей деревни подковообразную дугу. Мелка Снова — воробью по щиколотку, да лучше, чем совсем никакой.

Белым песком была вся речушка устлана, а на перекатах — коричневый галечник. Летом сюда синеспинные головли порезвиться скатывались, ну и мелкота — пескари, окуни, плотва — быстринку любила. Даже самый незадачливый рыбак с удочкой за полтора-два часа тут полуметровый кукуан нанизывал.

Там, где поглубже, в корягах и норах, водились, кроме головлей, крупные красноперки, налимы. Находились такие ловкие ребята, что руками налавливали не по одному десятку рыбин. Раков брали чаще как забаву для младших сестер и братишек, а варили их редко.

Иногда приезжали к нам за рыбой издалека — на машинах-«бобиках». По пять-шесть человек. С ними не было ни удочек, ни бредня, они глушили рыбу. Когда такая машина появлялась на берегу, мы, мальчишки, рысью бежали к ней. Интересно посмотреть взрыв — как бросают толковую шашку, как выползает из воды дым горящего бикфордова шнура, как затем жахает и над речкой вздымается вровень с макушками ракит серо-синий столб воды.

Вслед за взрывом мы бросались в мутную воду ловить всплывшую рыбу. Приезжие дяди внимательно следили, чтобы никто из нас не спрятал крупную рыбину. Нам позволялось брать только пескарей да плотву, но мы охотились за крупной и выбрасывали ее на берег приезжим. Втайне каждый надеялся утаить такую добычу, но дяди были бдительными, и счастье выпадало редко.

Один раз посчастливилось мне: я принес домой полуметровую щуку.

Наскочил я на нее случайно. Я уже вылезал из воды и у самого берега, в траве, вдруг заметил, как шевельнулась длинная черная палка. Я кинулся на щуку, стараясь схватить ее двумя руками за жабры, но щука вертнулась, выскользнула и потонула в мутной воде.

Отчаянию моему не было предела, тем более что машина с дядями уже фыркнула и покатилась дальше, к следующему рыбному месту. Я до боли в глазах всматривался в кружившую у берега воду, но напрасно. И вдруг щука всплыла у самых моих ног, уже совсем обессилев и перевернувшись кверху серебряным брюхом. Я весь напрягся и в одно мгновение впился пальцами в колючие жабры. Щука последний раз ударила хвостом, но вырваться уже не смогла. «Попалась, голубушка!» — торжествовал я, и радость, что я, такой маленький, поймал такую большую рыбину, наполнила мое трепещущее сердце. Я представил, как буду нести щуку по деревне и как станут взрослые расспрашивать, где я добыл такую зверюгу, а я не буду рассказывать подробности, а только лукаво улыбнусь: «Уметь надо...»

Глушили рыбу в основном приезжие. Свои, деревенские, пользовались сачками и реже — бреднями. Почти целое лето цедили они воду Сновы, и никто не уходил с пустым ведром. Правда, где-то в августе рыбы становилось совсем мало, но на следующий год, вскоре после паводка, первые рыболовы отмечали, что рыбы опять полно и нужно только уметь ее взять.

Вот такой была Снова наша — неширокий да неглубокий приток Тускари.

Была...

В один из приездов я не узнал речку.

Нет, сначала я не узнал луг за речкой. Вместо него было кукурузное поле. Первое, что пришло мне в голову, был вопрос: «А где ж теперь по весне деревенские рвут щавель на борщ, где берут девчонки цветы для венков, как теперь живут луговые птички и куда девались кузнечики?»

— Чудак человек, — сказал мне тогда Федор Кириллович. — Мелкийные твои вопросы. Ты б лучше спросил,

что с речкой будить? За один год вон как заилило. Рыба пропала: дна нетути — корму нетути.

И впрямь, пошел я искупаться, и чистым выйти негде было, кругом ил, ил, ил. Погибли ракушки (ими в сорок седьмом году, кстати, вся деревня питалась), не щекотали теперь пальцы ног осмелевшие пескари. . .

О, если б эта беда коснулась в то время только одной Сновы, название которой некуда вписать даже на местной карте! Мелели и зарастали реки с именем, нависала угроза над судоходными реками.

Под лемеха ложились тысячи гектаров лугов. Колхозы брали обязательства увеличить площадь пахот, и председатели — одни с болью, другие равнодушно — на-завтра отдавали приказание направлять трактора на луг. Сеяли кукурузу, свеклу, коноплю, кормовую смесь.

Получали подчас неплохие урожаи — земли-то заливные, влаги хватало на все лето!

Но не ходили теперь наши хорошаевские мальчишки в Круглый лес за удилищами, гнили на поветях сачки и бредни, бабы белье полоскали в жесткой колодезной воде, подрастало первое поколение детей, не умеющих плавать — негде было учиться.

И спустя несколько лет газеты запестрели заголовками: «Спасайте Десну!», «Спасайте Кубань!», «Спасайте Сейм!»... .

Хватились!

Ну, да лучше позже, чем никогда.

...Федор Кириллович шурит глаза от заползающего в них дыма, готовится заговорить — догадываюсь по его сосредоточенному морщинистому лицу.

Мы сидим на обструганном бревне возле недостроенного сарая («Цельное лето возилси с ним, шифером думаю покрыть», — сказал он. Хотя хата у него по-прежнему стоит под соломой — одна из немногих в деревне).

Усадьба Федора Кирилловича — над самой речкой, на крутом берегу. Внизу, вдоль речки, заросли лозы, ракит, осины, черемухи, кленов, дикой малины — ни пролезть там, ни пробраться. Оттуда несет запахом свежих осенних листьев.

Над коноплей по обе стороны деревни не умолкает грачинный гай.

Солнце, летают нити серебряной паутины. Стоит «бабье лето». Полыхает за сараем гроздьями молодая рябина, снуют в ее листве прилетевшие невесть откуда дрозды. К рябине крадется черно-белый кот...

Федор Кириллович поплевал на папиросу, придавил ее каблуком кирзового сапога.

— Речку, говоришь, жалко? — начал он с вопроса. — Э-э, а мне, думаешь, каково? Ты, племяш, родился тут — и уехал. А я родился, живу и помирать на етом места буду. Ды я рыбак еще, сам знаешь, сызмальства. Мне ета вся свистопляска с лугами, можа, лет на десять жисть укоротила. Тах-та во!.. Ить дурачки-то луга распахивали! Вот наш новый председатель, Бирюков, он с головой, правильно рассудил. В прошлом годе кулигу под Михеевкой травой засеял, летом трижды косили ее. Пришлось, правда, поливать, так луг, он тоже ухода требить. Почти по сорок центнеров сена накосили. Видел скирды у кулигя! Тах-та во!.. Обещаить Бирюков весной и наш луг засеять, ежели семена достанить. Семян, понимаешь ты, нигде нетути.

— Засеют теперь, не засеют, а все равно речка пропала.

— Ды, как тебе сказать? Природа, она, видишь ли, у иных случаях можа себя восстановить. Особливо, ежели помочь ей, прудов, скажем, напрудить — даже можна там, игде раньша мельницы были. Тут, племяш, можа у другом загвоздка случится. К примеру, наш Бирюков

засеял луга, а у тех деревнях, что выше нас, по-прежнему пахать их будут — вот игде беда.

Было далеко за полдень, желтый ком солнца круто скатывался под гору. К тому же Федора Кирилловича позвала тетя Варя — почтальонка пенсию принесла, и мы нехотя встали с нагретого солнцем гладко оструганного бревна.

Надя Павликова поутру забежала к Дуне на минутку.

— Завтра, ма, поросят сдавать повезуть. Готовьси...

— Ну? А кто повезет?

— Аркашка, должно.

— На своем драндулетя?

— А на чем же еще? Машину счас не дадут — бураки. Вон даже из-под Москвы пригнали на помощь... Моли бога, что трактор Бирюков не пожалел.

Надя была одета в теплый полсак, голова покрыта толстой коричневой шалью, за поясом виднелись подоткнутые старые перчатки. Лицо крупное, раскрасневшееся, по-прежнему красивое.

— Никак на север собралась? — попробовал я подначить. — Вон до двадцати градусов тепла передавали...

— Молчи ты, — отмахнулась Надя. — Их дело передавать. А побыли бы они цельный день у поля, узнали ба ети двадцать градусов. Бываить, так заколовеешь, зуб на зуб не попадаить. Хорошо, хоть Бирюков чай распорядился подвозить.

— А вы что делаете-то?

— Счас все одно делают — бураки. Мы, бабы, чистим... Скоро кончим. Вчера Бирюков по телевизору выступал, говорил, что план уже выполнили. Прибрехал маленька: возле Болотного еще гектаров двадцать не выкопано.

— Может, это внеплановая какая.

— А можа, хто ее знать. . .

— Подработаете, должно, на свекле-то? — поинтересовался я.

— Молчи ты! У нас счас не работа, а ругня одна. Етот, конфликт у нас со старухами. Чистить бураки все поприходили, а как сажать их, тятать никого не дозовешься. Трудно, видите ли. А деньгу сидя заколачивать не трудно? Вить конечный расчет с нами по центнерам производють. Нам не выгодно, чтобы у нас меньше центнеров выходило. Сами управимся!

Вот тебе и на! Вот как оборачивается у умных председателей заинтересованность в лишнем рубле (хотя лишних денег, говорят, не бывает)! У нас некоторые фразеры — как в деревне, так и в городе — порой осуждают такую систему оплаты, но ни один из них ни разу не отказался от премии и с трудом согласится прочитать бесплатную лекцию в рабочем общежитии. Пока существуют деньги, чего их чураться? Ведь это труд наш.

Другое дело — страсть к наживе. Но это — другое дело. . .

Надя привсталала, заторопилась.

— Ну, не забудь, ма! Побежала я, а то опоздаю.

— А мож, позавтракаешь с нами? — спросила Дуня.

— Не, я дома наелась, спасибо.

И тихо закрыла за собой дверь, легко сбежала с крыльца и повернула за угол хаты.

— Сколько, тетя Дуня, Наде лет?

— Э-э, не помню. Сорок или сорок пять. Сорок пять, должно. Галю она родила, когда двадцать было? Ну да. А Гале двадцать пять весной исполнилось.

— Выглядит Надя, однако, неплохо.

— Дыть пятерых выносила. А дети, они молодят женщину. Вот только Оля красивше ее была. . . умерла, жаль.

Я помню, как Надя замуж выходила. История целая! Сватал ее прибывший в отпуск к родителям лейтенант Андрей Угольников. Плакала Надя, не хотела уезжать на чужую сторону. Да и старше был Андрей лет на десять.

Долго уговаривали ее. Офицерской женой быть, советовали ей, — не навоз в колхозе возить, выходи, не пожалеешь. Да и время не такое, чтобы девушкам женихов перебирать, — забрала многих проклятая война.

Родители Надины не настаивали, но и не отговаривали: пусть-де сама решает. А Угольниковы прохода ей не дают, горы золотые обещают. Ну, и окрутили девку.

Свадьба была на улице, под кустистым вязом. Богатая получилась, да невеселая — без музыки. Угольниковы приглашали то одного гармониста, то другого, а каждый почему-то одинаково отказывался: «Вы Павлика позвоните — на такой свадьбе только ему и играть».

Павлик Коротких, сын мельника, — гармонист отчаянный, полдня может без передыху играть, все песни новые знает, да одна заавыка тут была: ухаживал он раньше за Надей. Андрей, считай, у него из-под носа ее увел.

Сговорились гармонисты, обиделись за друга. Ну, да у Угольниковых патефон имелся, трофейный, Андрей из Берлина привез. Еще и лучше: гармонист спиться может, а у этого только иголки меняй да пружину накручивай — до утра не устанет.

Но не брала за душу патефонная музыка. Пищит, хрипит, за гомоном не слышать ничего. То ли дело трехрядка!

Скучно шла свадьба, пили много, а не пьянели.

К вечеру, перед заходом солнца, когда вот-вот коров должны пригнать, гости стали расходиться. Встали из-за стола и молодые, им отдыхать было велено.

Подружкой у Нади была старшая моя сестра, Даша, которая после смерти матери воспитывала нас. Она куда-то отлучилась, и когда жених с невестой направились было в прибранную горницу в просторном пятистенке, Даша подбежала сзади к Наде и дернула ее за рукав. Что-то пошептала ей на ухо и, извинившись, удалилась.

А Надя изменилась сразу в лице. Оживилась вдруг, глаза засветились, а губы задрожали.

— Тебе плохо? — почувствовал неладное Андрей.

— Да-да, разреши, я сбегаю на минутку домой.

— Я тебя провожу.

— Нет-нет, я мигом...

Напротив хаты Федора Кирилловича Надю ждала Даша. Она ее поманила вниз к реке, в заросли, среди которых тогда еще была протоптана узкая дорожка — рыбаки пробирались сюда да бабы белье полоскать.

Едва спустились, и Надя попала в объятья... Павлика. Он выскочил из кустов, обнял ее за талию, задышал ей в лицо:

— Не отпущу... Украду... Моей будешь...

Тут же еще несколько ребят вышли из засады.

— Пойдешь с нами!

Надя не кричала и не сопротивлялась. Она только легонько отстранила Павлика и, поправляя свадебное платье, тихо сказала:

— Помял ведь...

Она была согласна идти с Павликом хоть на край света — любила его. Не боялась предстоящих пересудов, отца с матерью не боялась — любовь ее была безумной и слепой.

— Что ж ты раньше за мной не приходил? — погладила она теплой рукой голову Павлика.

Они перебрали через речку, прошли лугом, огородами, пробрались в Павликов дом...

А вскоре была в Хорошаевке новая свадьба. Шумная, веселая, в три гармонии. Неделю гуляли...

Андрей Угольников уехал раньше, и вот сколько времени прошло уже с той поры, а ни разу больше в Хорошаевке не появлялся.

А о том, как Надю выкрали, и сейчас еще вспоминают в деревне, особенно перед свадьбами.

Павлик ловко завязал поперек туловища поросенка петлю и, придерживая ее, чтобы не сползла, кинул концы веревки в открытую дверь сений.

— Тащи!

Тракторист Аркашка Серегин поймал веревку, натянул ее. Павлик подталкивал поросенка сзади, поросенок же, чуя недоброе, визжал, упирался, а когда Павлик поронул его лозиной, кинулся в сторону и вырвал веревку из Аркашкиных рук.

— Помогай, чего стоишь? — досадно прикрикнул на меня Аркашка.

А я действительно стоял поодаль — руки в боки, легкомысленно полагая, что поросенок тихо-мирно проследует из сений на прицеп «Беларуси». Поняв свой промах, я мигом подскочил к Аркаше и ухватился за веревку — Павлик по новой приспособливал петлю. Потом по его команде мы дружно дернули, поросенок визжал еще неистовее, упирался еще больше, и, может, мы бы его так и не сдвинули с места, но Павлик приподнял поросенка за задние ноги, и он покорно потопал на передних. Вывели поросенка на крыльцо, тут мы с Аркашкой схватили его за уши и втащили на прицеп.

— У, зараза, сильный какой! — выругался Аркашка, тяжело дыша, и хлестнул поросенка веревкой. — Сколько ж у него будить?

— Центнера полтора, — предположил Павлик.

Закрыли борт. Длинная, щетинистая свинка Дуни подошла к забившемуся в передний угол плотному Павликову хрячку и обнюхала его.

— Мой смиренный, а эта ведьма!.. Смотри, как глазами зыркаить... Сожрать готова. Мать, должно, и не покормила ее.

Я сбегал помыть руки, оделся — все-таки на открытом прицепе предстояло ехать. Дуня, правда, накануне осторожно мне намекнула, чтобы я сопровождал ее поросенка. А я с готовностью согласился, понимая, что тяжеловато придется Павлику одному, к тому ж я ни разу не был в Золотаровке, соседнем районном центре.

Пока я собирался, вернулась Дуня, шаркая заскорузлыми кирзовыми сапогами. Она искала в деревне самогон, по недовольному, озабоченному лицу можно было понять, что поиски были безрезультатными.

— Нашла? — подскочил к ней Павлик, жаждущий опохмелиться.

— Ни у кого нетути.

— А у Колбаихи?

— Нетути. Говорить, вчера зять последнее выпил.

— Вот гадство!

Затем Дуня подошла ко мне и сунула пять рублей.

— Там угостишь, — шепнула она на ухо.

Мы с Павликом вспрыгнули на прицеп, Аркашка залез в кабину и, рванув так, что свиньи чуть не попадали на нас, сидевших у заднего борта, покатил вдоль деревни. По дороге мы еще должны были заехать в Болотное за бригадиром Дамаевым, который, кстати, и выпросил трактор, чтобы сдать на мясокомбинат своего поросен-

ка — деньги позарез ему нужны были, он сына в армию провожал.

— Сколько дала? — крикнул Павлик — из-за тарахтенья трактора нормально разговаривать было нельзя.

— Пять.

— О-о!

Конечно, Павлик знал, что у тещи есть в чулане десятилитровая бутылка с вишневой настойкой, дважды он ее уже отвеживал — когда трубу чистил и тачку исправлял. Дуня, может, и сейчас бы его угостила, не будь Аркашки. А так жалко ей на кого зря настойку тратить. Вот когда Павлик удачно сдаст ее поросенка, тогда теща расщедрится.

— Можя, у Дамаева разживемси, — сказал с надеждою Павлик: мысли его, должно, были заняты одним — где опохмелиться?

От Хорошаевки до Болотного километра четыре. Деревня эта большая, центральная в колхозе «Победа». И школа там находится. Пять лет я туда ходил. А после пяти классов в ремесленное поступил, в Свободу. Там мы профессию получали, а заодно кончали и семилетку.

Ехать на прицепе было свежо, правильно я поступил, одев свитер. Трактор бежал быстро, не сбавляя скорости ни на колдобинах, ни на бугорках. Раньше, я знал, Аркашка вот так же бесшабашно на лошадях ездил, когда возчиком горячего работал.

— Как он едя по деревне, все бабки крестятся, — сказал Павлик. — Змей! Анадясь чуть было гусенят моих не подавил... Сколько время-то? Я свои забыл — в ремонт их хотел сдать.

Я взглянул на часы:

— Четверть девятого.

— К одиннадцати будем. Как раз ею начнут торговать.

Павликов хрячок по-прежнему смирно стоял у переднего борта, а Дунина свинка все время топталась, недружелюбно поглядывая на нас и все ближе подступая к нам.

— Узё! — двинул ее Павлик в лоб сапогом.

Поросенок отпрянул, но не успокоился.

Мы сидели на корточках, держась за борт, ноги уже начали уставать, и я сказал Павлику:

— Может, пару снопов прихватим? — Мы как раз проезжали конопляное поле.

— Не, за конопи ругают... Да Аркашка и не услышит... Соломы где-нибудь прихватим, потерпи маленькя.

Из-под задних колес «Беларуси» летели ошметки грязи, особенно после того, как переезжали лужу. Я устроился так, чтоб на меня грязь не попадала, а Павлик не обращал на нее внимания и просто делал резкое движение головой, если ошметок залетал ему на фуражку.

Ехали по большаку. После Хорошаевки с полкилометра вдоль его с двух сторон шумят высокие тополя и осины. Федор Кириллович рассказывал, что их посадил мой двоюродный дед Савелий. И шумят деревья теперь, радуя людей и украшая землю, — добрая память о безвестном старике энтузиасте.

— Хорошо, быстро едя, — прервал молчание Павлик.

— Километров тридцать, — предположил я. — А чего вы, Павлик, в Золотаровку, а не в свой район везете?

— Ближа, и дорога лучша.

— А примут из чужого района?

— Какая им разница? Одна ведь государственва.

Павлик, мне сдается, год от года высыхает, мельчает телом. Раньше он и полнее был, и ростом выше. А теперь сзади посмотришь — подросток. Странно, но мне почему-

то кажется, что сейчас бы Надя за него, вот за такого нескладного, не пошла бы замуж, не сбежала бы от Андрея Угольниковца.

— Там же, на мельнице, работаешь? — спросил я его, хотя иного ответа и предположить не мог: Павлик, унаследовав мельничье дело от отца, бессменно молот муку и на водяной, и теперь, на механической мельнице. Но он нехотя сказал, что перешел на ферму истопником, чему я немало удивился.

— А что ж случилось?

— С Бирюковым не ужились. Застал выпимшим, ну и сказал, чтоб я больше на мельнице не появлялся. Я и не появился — у меня тожа гордость есть.

Въехали в Болотное. Деревня стояла по сторонам глубокого, заросшего бурьяном оврага (где-то я читал, что предки наши специально обосновывались вот на таких не очень удобных для пахоты местах — берегли землю).

Когда я жил у Федора Кирилловича в первый свой заводской отпуск, то частенько в Болотном бывал. Вместе с Аркашкой, трактористом нынешним, мы сюда любовь ходили крутить. Он на три года старше меня, в этом деле поднаторел больше моего, ну и подбил однажды: «У нас в Хорошаевке ни одной девки путевой нетути, пошли со мной, враз познакомлю» (В скобках заметим, что женился он все-таки на хорошаевской.)

Свел меня Аркашка с толстушкой одной, как сейчас помню, Катей ее звали. Каждый вечер она, бывало, беспрестанно повторяла одно: «Вы ко мне просто так ходите, а потом бросите, как отпуск кончится. Правда же?» Однажды я не выдержал и буркнул: «Правда», — и больше к Кате не ходил... Где она, интересно, сейчас? В колхозе или, как большинство молодежи, в городе устроилась?

Тут трактор резко повернул к большой свежепобелен-

ной хате и резко затормозил. Прицеп наш остановился возле самого крыльца, в нескольких сантиметрах от него. Из хаты вышел среднего роста мужчина, кивком головы поприветствовал нас и поспешно скрылся в сених. «Дамаев», — догадался я.

Во дворе визжал поросенок...

...Дорога возле мясокомбината — сплошное месиво. Бедные шоферы! Машины бросает из стороны в сторону, они буксуют, режут, шоферы матюгаются и, как спасенья, ждут, когда появится случайный трактор.

А наш «Беларусь» проскочил через это месиво, будто по чистому асфальту. Аркашка даже скорость не убавил. Правда, мы вместе с тремя поросятами чуть-чуть не выскочили за борт, но «чуть-чуть», говорят, не считается.

В контору мясокомбината пошли Дамаев, Павлик и Аркашка. Я остался за сторожа, да и не нужен я там был. Справку от ветеринара Дуня отдала Павлику, и он официально, так сказать, отвечал за всю операцию по сдаче ее свинки.

Минут через десять появились невеселые Павлик и Дамаев. Они шли вслед за каким-то мужчиной и с двух сторон что-то доказывали ему. Он же твердил одно и то же: «Нет! Не могу! Приказано!»

У меня похолодело внутри: неужели не принимают? Это что, обратно везти уставших поросят? Трястись с ними, без конца успокаивать пинками беспокойную свинку Дуни? А сама Дуня? У нее ведь еще есть в закуте одно вот такое же божье создание, и она окончательно замучится с ними. «Они меня съедят, — жаловалась она мне. — А тут деньги нужны, угольку на зиму привезти».

И вдруг из конторы буквально выбежал Аркашка.

— Бюрократы, заразы, засели тут, ни черта не де-

лают, лозунгов повешали: «Больше мяса государству!», а сами от мяса отказываются! — кричал громко он. Аркашка своего поросенка не сдавал, но он рассчитывал на обратном пути погрузить купленные у своей здешней родни дрова и теперь, разумеется, откровенно негодовал. Он подошел к прицепу и накинулся на меня: — Чего сидишь, иди звони куда надо! Засели тут, мясо им не нужно. «Временно личный скот не принимаем!» А чем личный поросенок хуже колхозного?

Я соскочил на землю, взял Аркашку за руку:

— Не шуми. В чем дело?

— Некуда, говорить, холодильники железная дорога не дает. Что делать?

Хмуро курит Дамаев. Павлик отыскивает в кармане фуфайки по коноплянному зернышку и каждое подолгу катает во рту, прежде чем расщелкнуть. Аркашка смотрит на меня зелеными глазами.

Эх, рискну! А вдруг получите? ..

— Директор у себя?

— В том-то и дело, что нетути. В сельхозуправлении, — сказала секретарша.

— Пошли со мной, — говорю Аркашке.

В приемной директора мясокомбината я вежливо поздоровался и подошел к столу.

— Разрешите позвонить?

По моей городской одежде и вежливому тону пожилая секретарша, видно, догадалась, что я не колхозник, и разрешила. Она, конечно, не могла предположить, что я тоже обеспокоен судьбой трех поросят.

Я снял трубку.

— Слушаю, — сказала телефонистка.

— Первого секретаря райкома, — отчеканил я.

— Рогов его фамилия, — подсказал Аркашка, стоявший у дверей.

Секретарша зыркнула на него, потом уставилась на меня, гадая, должно быть, кто этот молодой человек в свитере. Неужто какой новый начальник?

Я волновался, не в силах придумать, как представиться Рогову.

— Алло...

— Товарищ Рогов?

— Да, да.

— Тут вот какое дело. С мясокомбината вам звонят. Понимаете, я приехал в отпуск. К тетке... Ну, мы трех поросят привезли, а их не принимают...

— Так что, я буду вашими поросятами заниматься?

— Ну, понимаете, тетке семьдесят лет, — продолжал я, — больше никто не поможет... А их не принимают...

— А зачем вы привезли? — вдруг резко оборвал меня Рогов. — Мы и в газете, и по радио объявляли, что временно личный скот не принимаем.

— Про лозунг ему, про лозунг! — подсказывал от дверей Аркашка.

— Но мы не знали про объявление, — виновато сказал я, а сам с дрожью подумал, что если Рогов спросит, откуда мы, и узнает, что из другого района, тогда — никакой надежды. — Понимаете, трактор нам со свеклы сняли: ведь это ж еще потом придется день терять...

— Да... — вздохнул Рогов. И я почувствовал: лед тронулся.

— Пожалуйста, товарищ Рогов...

— Ладно, примем мы ваших поросят. Но скажите там у себя в деревне, чтоб до Октябрьских больше не привозили.

Аркашка выскочил из приемной и кинулся на улицу, где по-прежнему тарахтел его трактор (он не выключал мотор от начала до конца рабочего дня), где в безнадежном ожидании стояли Дамаев и Павлик.

Я шел с видом победителя. Дамаев уже улыбался, Аркашка выбивал запылившийся зеленый берет, а Павлик весело топтался на месте.

— Давай пятерку, — протянул он ко мне руку, — я сбегаю... На радостях, так и быть...

Война, можно сказать, нашу Хорошаевку помиловала. Страшные бои рядом шли, бомбы на огородах рвались, подбитые — и наши, и немецкие — самолеты падали за Сновою, а деревню ни с одного боку не зацепило. Одна только колхозная конюшня сгорела.

Помиловала война...

Я лежу на своей скрипучей раскладушке и загибаю на руках пальцы. Начинаю с конца деревни: Шишкин — убит, Кузьма Полинин — убит, тесть Васьки Хомяка — убит, мой отец, потом Сенька, Иван, Павел — братья Федора Кирилловича, Гришка Серегин, Колбаихин муж, Ани Шуриковой отец, Матвей, Фрол Угольников, Петрак Тарубаров, Илья Чуканов... Четырнадцать убитых на тридцать два двора...

А среди вернувшихся тот без руки, тот с осколком в легких, тот хромает, тот трясется после контузии.

Что и говорить, помиловала Хорошаевку война...

Полдеревни вдов, полдеревни сирот.

Слезы, слезы, слезы...

Однако, сколько ни плачь, погибших не вернешь. А жить надо было.

...И жизнь продолжалась.

— Нынче, бабы, пахать, — ходил вдоль деревни безрукий бригадир Тимоха, давая наряд.

Вот он к нам повернул, помахивая хворостинкой. Дуня, принеся нам черствую лепешку, шикнула на Дашу:

— Прячься! В чулан быстро! Скажем — нетути.
Даша было кинулась к дверям, но в мгновение раздумала.

— Нет, не могу. Узнать — застыдить...

— Во, дуреха! Ну, угробляй корову, мори ребят.

А Тимоха уже под самым окном.

— Даша, пахать...

— Можя, дядь Тимофей, отдохнуть сѣдни корова-то.
Утром одну литру всего дала...

Тимохе, конечно, жаль обижать нашу сиротскую семью — пятеро как-никак: Даше, старшей, восемнадцать, мне, младшему, шесть. Но о председателевом приказе он помнит: на неделе закончить пахоту.

— Вот управимся, и отдохнуть твоя корова, — опустив глаза, говорит Тимоха. — А пока, дочка, сама понимаешь... Да, ты когда этих двоих в приют отдашь?

Двоих — это меня и сестру Аню. Многие Даше советуют отдать нас в детдом, она вроде бы и соглашается, даже бралась уже документы оформлять, но дела до конца так и не довела.

— Жалко, дядь Тимофей...

А мне, признаться, очень хотелось попасть в детдом. Что-то таинственное возникало в моем воображении, когда произносили это слово. Возникал большой-пребольшой белый дом — в сто раз больше нашей церкви. Дом стоит на бугре, над речкой — в сто раз шире нашей Сновы, вокруг лес растет — в сто раз гуще нашего Круглого леса.

Перед домом — солнечная поляна. На ней — длинный ряд столов, ну как... на похоронах матери. Нет, как на последнем колхозном празднике. И на столах тех — белый хлеб, конфеты-подушечки, морс, и можно есть все это сколько хочешь...

Зря все-таки не отдает нас Даша в детдом.

А пока мы уплетаем в пять ложек из общей миски картофельную похлебку, жидко забеленную молоком.

Корова Лыска тем временем щиплет в саду прошлогоднюю траву. У коровы костлявая спина — после голодной зимовки ходит она спотыкаясь, а в печальных глазах — упрек Даше за то, что она водит ее на поле, где Лыску впрягают в плуг. А Даша иногда еще и стегает ее веревкой. . .

— Не веди Лыску, — умоляю я старшую сестру, и глаза мои наполняются слезами.

— Ты еще тут! . . — заругалась на меня Даша. — Я не поведу, другая не поведет, третья, а что жрать осенью будем?

Заругалась, а сама повернулась к печи и плачет. Я заметил, от меня ничего не утаишь. . .

Взяла ухват, ловко вытащила из печи чугунок, побросала в него несколько пригоршней мелко нарезанной молодой жигуки. Значит, на обед щи будут! Ура! Вон какой чугунище! Хлебать можно — от пуза.

А интересно, почему жигука, когда ее ешь, не кусается, а когда дотронешься рукой или нечаянно наступишь, так она жжется?

. . . Я лежу, загнув на руках все пальцы — их при счете не хватило. На губах — несладкий вкус ничем не заправленных пустых крапивных щей.

Тишина в деревне и густая осенняя темнота. На потолке жужжит муха, попавшая в паутину.

Не спится. Пальцы на руках боюсь разжать. . . Четырнадцать на тридцать два двора. . .

Это, наверно, Дамаев разбередил мою память. Когда возвращался из Золотаревки, он, молчун, вдруг разговорился.

— А ты чей там в Хорошаевке будешь? — спросил он.

— Был, — поправил я его. — Захара знали?

— Клепина, что ль?

— Его.

— И ты — сын?

— Я.

— Вот это да! Я ж твоего отца, как брата, знаю. Мы с ним воёвали. В сорок третьем, когда под Понырями стояли, сено для армейских лошадей вместе косили... Ох и ловок был! Маленький, а любого обставлял. Хороший мужик. Мы в одной землянке жили. Бывало, курим, он и говорить: «Никудышний из меня вояка, я винтовку так и не научился правильно держать. Вот косить — другое дело. Или нехай пахать...» В первом же бою разлучились. Я в плен попал, а он — не знаю куда... Где его, говоришь, убило?

— Под Витебском.

— Ну-ну! Мы отступали в тех краях... Хороший мужик был... Да, сколько нашего брата полегло!..

Четырнадцать на тридцать два двора...

Я оделся, вышел на улицу. В листе клеёв, выросших выше хаты, пошумливал ветер, светилось окно у Аркашки Серегина — должно, кормили новорожденную девочку.

Небо чистое, звезды на нем крупные, яркие, даже, кажется, потрескивают, как горящие угольки...

Спит Хорошаевка, помилованная войной деревня.

Помилованная?..

Две стены у Дуни — в сплошных фотокарточках. Самодельные рамки покрылись пылью, стекла позасижены мухами — Дуня в последние годы не так следит за чистотой, как раньше. Да и много возни, если приняться протирать. Вот будет побелка...

Каждый раз я вглядываюсь в фотографии, в знако-

мые и незнакомые лица, открываю новых, ранее не замечаемых людей. И удивляюсь, что вот эта ширококоротая девчушка — ныне уже бабушка; содрогаюсь, узнав, что вот этого подростка в пилотке уже нет в живых — подорвался после войны на mine.

Фотографии, фотографии... Пожелтевшие и свежие, с ноготь размером и во много раз увеличенные — с настенное зеркало.

Фотографии, фотографии — своя домашняя летопись.

Вот в черной большой рамке снимок тридцатых годов — шесть рядом овальных головок. В левом верхнем углу нарисован Сталин, в правом — Ворошилов. Внизу — на ленточке — подпись: «Выпуск м/лейтенантов артиллеристов КОВС». Среди них — Петр, неродной Дунин сын. Выпускников — я подсчитал — сто двадцать пять.

Интересно, сколько их осталось после войны?

Еще пожелтевшая любительская фотография. Емельян Иванович с первой женой Павлой и Петр, Оля, Надя. Надя на руках у матери сидит — еще совсем кроха.

— В двадцать восьмом году они снимались, — поясняет Дуня, — Павла вскоре умерла — от тифа.

А здесь довоенный фотограф снял целый зал: участники слета лучших коноплеводов. В четвертом ряду, с длинной черной бородой — мой двоюродный дед Савелий, тот, что большак тополями да осинами обсаживал.

Вот еще Петр. Молодой, красивый, круглолицый, на петлицах — по три кубика. Перед самой войной снимался. С лица он и теперь мало изменился, вот только морщин прибавилось.

Смотрю дальше. Кого-то хоронят. У гроба — Павлик, Надя, Петр, Емельян Иванович. Наверное, Олю, погибшую от ножа одного негодяя-бандита.

Следующая рамка. Ленинградская сестра Дуни с мужем и маленькой дочерью. Я слышал от Дуни, что она перенесла блокаду, сама похоронила первого мужа.

— Етот-то, Анатолий, на десять лет млаже ее, — сказала Дуня. — А смирно живут — я позалетося была... Девка-то уже в институту учится. На етого, на дохтора.

А вот моя фотография! Бог ты мой, а я ее раньше и не замечал! Сижу, напыжившись, в ремесленной фуражке, в шерстяной гимнастерке с костяным воротничком. Глаза, как у филина, выпучены.

— Откуда она у вас, тетя?

— Твоя-то? А у Даши когда-то выпросила. Дай, говорю, у вас таких много. Ну, и дала.

Еще шаг вдоль стены. Счастливая Надя с сыном Витькой на руках (вылитый Павлик, сейчас в училище механизации учится, в Свободе), сзади нее на табуретках стоят Галя (учительница ныне, сама двоих детей имеет) и Коля (очень похож на мать, лейтенант милиции в Москве). Все сведения мне дает Дуня, она занята обычно своим делом, когда я рассматриваю фотографии — шьет, готовит обед или моет посуду, — но каким-то чутьем угадывает, на кого я смотрю в данную минуту, и тут же рассказывает, кто сейчас где, кто кем, кто куда.

Рамки, рамки, рамки... Дети, родственники, внуки, правнуки и просто знакомые...

— А что ж, тетя, вашей ни одной фотографии нет?

Дуня оперлась об ухват — она в печь чугуна ставила, махнула рукой, усмехнулась:

— Э-э, детка, рожей я не вышла — сниматься. А чужие карточки люблю беречь. Не так одиноко с ними... А еще — жисть вспоминаешь...

Васька Хомяков, по-деревенски Хомяк, был ольховатским примакom: вскоре после войны женился на хорошаевской красавице Полине Вялых и перешел к ней жить. Хатенка, в которой выросла Полина с матерью и покойным отцом, скорее походила на курятник. Перезимовав, Васька ранней весной принялся завозить лес — благо, будучи лесником, он доставал его без особого труда.

А как построился — во избежание непредвиденных последствий оставил лесничество и перешел в колхоз учетчиком. Полина — один за другим — нарожала ему пятерых детей, которых он без памяти любил и из которых ныне при нем осталась только младшая Людка, а остальные поразъехались. Года три назад он устроился в отдел снабжения на завод, что на станции, Полина работала в колхозе, и в общем Васька Хомяк считал свою жизнь вполне удавшейся.

А еще он считал себя добрым. До последнего дня считал...

Он сидел на завалинке и боялся войти в хату. Там ревела Людка, Полина то нежно успокаивала ее, то грозно прикрикивала: «Хватит, успокойся!» Боролись в душе Васьки два чувства — неправоты и правоты. Сначала он особой вины за собой не признавал, но, поразмыслив вот здесь, на завалинке, все тверже уверялся, что неправ был сегодня.

Я как раз за водой к колонке пришел — захотелось холоднячка. Уже был сумеречный час, но я разглядел на Васькином лице выражение озабоченности и печали.

— О чем грустишь, сосед? — бодро, а потому не совсем, наверно, уместно сказал я.

Васька приподнялся с завалинки, медленно подошел поближе.

— Хреновина, понимаешь, тут одна вышла, — доверительно ответил Васька. — Сам посуди...

И вот что я узнал.

...Дружок шел позади Васьки Хомяка, хозяина своего, и рассматривал ружье.

По заросшей мелкотравьем меже, разделявшей огорода, Васька ступал широко, но не быстро. В одной руке он держал ремень висевшего за спиной двустольного ружья, в другой — поводок из старой полусопревшей веревки.

Васька курил. Запах дыма был новым для Дружка — совсем не резким, к которому он привык, а ароматным, приятно щекочущим ноздри. Значит, догадался Дружок, хозяин опять побывал в городе — он всегда привозил из города такие пахучие папиросы.

Было уже далеко за полдень. В дальнем конце деревни глухо тарахтел трактор да изредка полаивала — на кур, должно, — Пальма, дворняжка Федора Кирилловича, которую Дружок недолюбливал за излишнее пустобрехство. Он хоть и сам принадлежал к этой же крови, но считал себя намного умней и сдержанней, не ласкался, как она, с первым встречным, был с чужими людьми настороже, знал, кого обляять, а на кого просто надо порычать. Строго и верно выполнял Дружок свое основное назначение — стеречь хозяйский двор.

Когда они с хозяином поравнялись с невысокой кучей картофельной ботвы, Дружок вдруг заметил желтую мышку, юркнувшую под ботву. Не устояв перед соблазном, он прыгнул на кучу, зарычал. Васька чуть не выронил поводок, недовольно повернулся.

— Не балуй!

Дружок виновато отступил от кучи, завилая своим пушистым хвостом. Хозяина он побаивался, хоть тот никогда не бил его, а кормил всегда досыта и три раза

в день. Но вот голос у хозяина был таким резким, властным, что Дружок испуганно вздрагивал, когда хозяин отдавал какие-либо команды. И хотя он был человеком добрым, но за шесть лет своей жизни Дружок не помнит, чтобы хоть раз поиграл с ним.

То ли дело дочь хозяина, Людка. Пуще всех любил ее Дружок, ждал, когда она вернется из школы, и, заметив ее издалека, начинал от нетерпения визжать, царапать передними лапами землю. Людка первым делом шла не в хату, а к будке Дружка, гладила его по голове и все просила дать лапу. Дружок сначала не понимал, чего хотела Людка, но постепенно стал догадываться и в последнее время охотно клал на теплую Людкину ладонь попеременно то правую, то левую лапу.

Случалось, Людка отвязывала Дружка от цепи и шла с ним в сад. Тут они начинали играть друг с другом, кататься по мягкой зеленой траве. Людка норовила сесть верхом на Дружка, а Дружок вовремя выскальзывал и притворно рычал на Людку. Иногда девчонка клала ему в пасть свой кулачок, Дружок осторожно сжимал челюсти, боясь причинить Людке боль.

Васька, правда, не советовал Людке баловать Дружка и тем более — отвязывать от цепи. Он говорил, что собаке нельзя давать поблажку, иначе она перестанет слушаться, будет менее злой и чуткой.

Сегодня же, против обыкновения, хозяин был веселее и разговорчивей с Дружком. Придя с работы, он вынес целую миску теплого жирного борща. Дружок ел, а хозяин, сидя рядом на корточках, время от времени гладил его по спине и все говорил, говорил:

— Ешь, Дружок, ешь. Последний раз ешь. Скоро тебе — копец. Пойдем сейчас за огороды, на конопляное поле — и конец тебе. Благо, Людки дома нету, реветь не будет: «Не убивай, лучше кому-нибудь давай Дружка от-

дадим». А кому ты нужен? Да и сбежишь от любого хозяина, если отдать, — не дурак ты, хоть и дворняжка, обратно дорогу за сто километров найдешь. А держать тебя, Дружок, нет никакой надобности. Зачем нам две собаки? Видел, какого я щенка от брата привез? Не смотри, что он такой маленький да пузатенький. Вырастет — волкодав будет! С ним и на охоту можно, не то что с тобой. Ты, кроме как на людей брехать да на кошек еще, ничего не можешь... Ешь, Дружок, ешь... Пока Людка футбол гоняет, мы, это самое... за огороды с тобой. А она пусть к щенку привыкает. Во щенок, породистый! Грэй! У него в родословной всех на «Г» кличут... Ешь, не поминай на том свете лихом, я тебя мог бы и так, не кормя...

А потом Васька сходил в сарай и принес веревочный поводок. Пока Дружок вылизывал миску, он снял с него кожаный ошейник и вместо него завязал простым узлом веревку. Дружок еще ничего не подозревал и вел себя смирно и даже лизнул хозяину руку, отблагодарил тем самым за вкусный ужин.

Привязав другой конец поводка за крыльцо, Васька сбегал в хату и вернулся с ружьем. То, что эта штуковина сильно гроыхала и могла свалить даже быстрого зайца, Дружок узнал прошлой зимой, когда однажды хозяин взял его на охоту. Дружок, видно, плохо лаял и гонял зайцев, потому что после этого хозяин его больше не брал. А ведь он так старался, так старался! Одного зайца чуть было не настиг, но хозяин опередил его, грохнул вот из этого самого ружья.

Теперь, думал Дружок, хозяин еще раз решил проверить его охотничьи способности. На этот раз он уж не сплхует, обязательно догонит зайца и схватит его прямо за куцый хвостик.

Кончились огороды, Васька вдруг запнулся и досадно сплюнул:

— Эх, ты, черт, лопату забыл... — И подумал: «А, ладно, вернусь еще раз и закопаю».

Пройдя шагов пятьдесят по пустому полю, пахнущему созревшей коноплей, он остановился, далеко отбросил папиросу, снял ружье.

Дружок присел на задние лапы и стал чутко вслушиваться в предвечернюю тишину. Он напрягал зрение, водил головой из стороны в сторону и ждал от хозяина команды.

Васька тоже осмотрелся и с сожалением произнес:

— Черт, не за что и привязать...

И еще раз в мыслях выругал себя, что забыл лопату. Тогда б воткнул, поводок за нее — и никакой канители.

Хозяин щелкнул затвором, и Дружок почуял еле уловимый запах гари, тревожно взглянул хозяину в лицо.

— Что, жить хочешь? Сейчас, сейчас...

Васька стал отдаляться от Дружка, наводя на него два черных ствола.

Дружок кинулся к ногам хозяина, заскулил.

— Сидеть! — грозно приказал Васька и топнул ногой.

Дружок лег на колючую конопляную стерню и почувствовал теплым животом, как тянет холодом от земли. Сильней, чем от снега морозной зимою. И он задрожал от предчувствия беды, ослушался и пополз вслед за пятившимся хозяином.

— Сидеть, Дружок! Кому говорю?

Дружок ткнулся мордой в пропахшие солидолом сапоги.

— Сидеть! Не буду же я в упор...

Васька пнул Дружка сапогом в бок, острая боль на мгновение лишила пса сознания, и он перевернулся на спину. Но через мгновение вскочил и опять ткнулся в сапоги. Не доверял он сейчас хозяину, неладное тот затеял, иначе б не ударил, не пятился от него... Ведь поначалу, после работы, он был ласковым, а когда кормил, то и разговаривал долго. И вдруг переменился...

Неужто он его как того зайца? Грохнет — и не будет Дружка.

И тут до его чуткого уха со стороны сада донесся знакомый зов:

— Дружок! Дружок! Дружок!

Голос у Людки дрожал, девчонка, чувствовалось, кричала на бегу, задыхаясь.

Дружок повернул голову на крик, перестал скулить и забыл про боль в боку. Вот оно спасение! Сейчас Людка заберет его у хозяина, и они уйдут с ней в сад, где все еще много мягкой душистой травы.

— Учуял? — недовольно сказал Васька. — Ну беги, беги к ней... Беги...

Дружок вильнул хвостом, оттолкнулся что было силы задними лапами и рванулся — быстрее, чем прошлой зимой за зайцем...

Когда рассеялся дым, довольный Васька сплюнул через губу:

— Порядок...

...Васька мял подбородок и виновато смотрел себе под ноги.

— Понимаешь, — закончив рассказ, подытожил он, — после я подумал: зря убил Дружка... Можно б было кому и вправду отдать, а прибежал бы, черт с ним, пусть бы оставался. А так — будто и девчонку ранил... Ревет, жалко, говорит... Не нужен, говорит, мне твой волчок

дав, Дружка никто не заменит... Жестокий, говорит, ты человек. — И он, как бы оправдываясь, вдруг горестно выдохнул: — А я-то добрым себя считал...

Хорошаевка спокойно готовилась ко сну.

Лаяла просто так Пальма Федора Кирилловича.

Плакала Людка.

Терзался в своей неправоте Васька Хомяк.

И мне не по себе стало.

— Здравствуйте вам!

Это я в гости заявился к Никите Комарову.

Никто не отозвался, только черно-белый кот, дремавший на загнетке, посмотрел на меня одним глазом и опять зажмурился.

— Есть кто? — уже громче спросил я.

Тишина. «Во дворе, может, пойду-ка туда загляну».

Выхожу — так и есть. Никита красит наличник темно-синей краской. Заканчивает.

— Здравствуйте!

— О, здоров, здоров!

Никита поставил банку с краской на завалинку, протянул правую руку, поджав кисть — она была вымазана. Как бы извиняясь, сказал:

— А я тут, понимаешь, покрасить решил. Погода стоять теплая, чего, думаю, краске пропадать, дай подновлю наличники... А ты в хату заходил?

— Заходил. Вас и обокрасть так можно.

— Э-э, молчи. Что там красть? Телевизор? Так он у нас старый, сейчас вон больших все понакупили... Я-то слышал, что дверь хлопнула, да думал, это ветряк.

Никита докрашивал наличник, я осматривал его хату.

— Вы, смотрите, пристройку сделали?

— Ды сделал. Летося Володька приезжал, ну мы и

поставили. И Виталька маленька пособлял. Усе строятся, а мы чем хуже?

При этом Никита довольно улыбнулся. Был он уже без зубов, полысел до макушки, дышал тяжело — то ли от самосада, то ли старость уже подошла.

Слыл в деревне Никита Комаров маленько чудаком. И не без причины. Вот посудите сами.

С войны он вернулся с покалеченной правой ногой — сантиметров на десять короче левой. Были еще какие-то ранения, и комиссия хотела дать ему вторую группу инвалидности. Никита воспротивился, зашумел: «Никакой я не инвалид! Чуть прихрамываю, но весь целый!» Члены комиссии растерялись: впервые такого встречают. Ему что, неохота пенсию большую получать? Стали уговаривать: «Мы вам, рядовой Комаров, временно вторую группу даем». — «Нет и нет, — кричал Никита, — если и согласен, то только на третью. Да меня баба на порог не пустить со второй группой. Можя, скажить, ты негодный мужик теперь».

Удивил и рассмешил членов медицинской комиссии Никита. Согласились в конце концов они с его желанием.

В армии Никита немножко сапожничать научился. Инструмент, понятно, после демобилизации с собой прихватил и сразу же открыл у себя на дому мастерскую. Не ровня он был Федору Кирилловичу, мастеру отменному, работавшему тогда по патенту. Но заказов к Никите поступало больше. И никакого секрета в том не было: почти не брал платы Никита, всю деревню за «спасибо» обслуживал: валенки подшивал, ходоки, ботинки, завалявшиеся у кого-то на чердаке и нечаянно найденные, подковки привинчивал к сапогам бывших фронтовиков. Вот только новую обувь не шил — боялся

испортить материал. С новой к Федору Кирилловичу ходили.

А сын Никиты Вовка, ровесник мой, тем временем в галошах стоптанных бегал.

Привез с войны Никита и машинку для стрижки волос. Вот уж зажили мужики хорошаевские! Не надо было перед праздником в район ездить в парикмахерскую. Пойди к Никите — живо подстрижет. Еще и побриться даст своей заграничной бритвой.

Особенно нам, мальчишкам, повезло. Раньше чем нас подстригали? Овечьими ножницами. Кое-как. Потому головы у всех были полосатые, как арбузы, за ухом или на шее вечно оставался невыстриженный клочок. Теперь, как только учитель кому приказывал «снять патлы», он шел к Никите, робко открывал дверь и здоровался. Никита не допытывался, зачем пожаловал, он хвалил за вежливость и догадливо подставлял пришедшему табуретку к окну: «Садись, да не плакай, если ущипну чуток». Бывало, тетя Клава ругалась: «Горód копать надо, а ты стрижку затеял». Никита в таких случаях багровел, ярился и топал здоровой ногой: «Замолчи! Никуда твой горód не денется! А у ребенка воши могут завестись».

Был у Никиты самый крепкий в деревне табак. Сеял он его на лучшей самой жирной земле, целое лето заботливо ухаживал за ним — поливал, цветы обрывал. Выше пояса вырастал табачище.

Когда табак подсыхал на чердаке, Никита заносил в хату ступу, большое соломенное лукошко и начинал чудодействовать: столько-то «корня», столько-то листьев. Толок он, но чихали все: и тетя Клава, и Вовка, и послевоенная дочка Нина. Тетя Клава ворчала, а Никита улыбался: «Вон есть люди специально покупают табак нюхать, а ты нюхаешь за так ды еще и серчаешь».

Полное лукошко самосада наготовливал. Всю зиму, считай, многие мужики курили табачок-крепачок Никиты Комарова. Понаходят вечером к нему, Никита самодельное домино на стол — и коротают время. Дым стоит, хоть топор вешай, всю «Курскую правду» Никиты покурят, за отрывной календарь примутся. С краю стола Вовка при moistится уроки делать. Делает — учился он хорошо — и еще кому-нибудь заодно и подскажет, чем лучше пойти, что у соперника осталось.

Курят мужики да еще и по горсти-второй с собой прихватывают. Тетя Клава смотрит с печи на муженька, вздыхает: «Непутевый он у меня. Вон другие за стакан табаку два яйца берут, а мой за так все раздать готов. Вот уж бог наградил мужинькем...»

Одно лето Никита сад колхозный сторожил. Надо сказать, что у большинства хорошаевских свои сады были, но их берегли, яблоки детворе рвать не разрешали хотя бы до полуспелости. А до этой поры выручал колхозный сад. Пока сторож, бывало, в один конец уйдет, мы с другого нарвем. Тем более что сторожа не особенно усердствовали и часто позволяли нам лакомиться сами, стоило только их жалостливо попросить.

Но вот поставили сторожем Никиту, и жить стало худо. От него, хромого, можно было, конечно, легко убежать, но уж коли он ловил, то спуску не давал. Натрет уши, надерет ремнем или хворостиной, а под конец еще и жигуки в штаны сунет.

Для ребят постарше он ореховую палку носил.

Берег Никита колхозный сад пуще своего. Даже Вовке, сыну, не разрешал яблоки рвать.

Да что там — сын? Один раз председатель колхоза с каким-то уполномоченным подкатил на тарантасе к сторожьюму шалашу и попросил сорвать в портфель для го-

стя десяток-другой поспевающих груш. И что? Никита так стыдил и матюгал председателя и его спутника, что они сочли за лучшее убраться подобра-поздорову.

Большую выручку от сада получил в ту осень колхоз. Но только на следующий год председатель ни за что не согласился поставить сторожем «этого жлоба Никиту Комарова».

А какой он жлоб? Просто честным был. Он чужого в жизни и грамма не взял. Все своими руками добывал.

Был такой случай. Упало как-то с проезжающей колхозной машины пуда два свежего лугового сена — как раз напротив крыльца Никиты. Другой бы обрадовался, взял вилы и перекидал сено к себе за ограду. А этот вывез тачку, поклат на нее оброненное сено, увязал веревкой и отвез к конюшням, где мужики и бабы навивали длинный-предлинный скирд.

А сейчас, я заметил, осенью, когда огороды убраны, он не выпускал кур из ограды. «Чего вы их под арестом держите?» — просто так, шутя, спросил я. А он серьезно ответил: «Чтоб конопи не ходили клевать». — Так со всей деревни куры ходят, вон грачей целое небо... Сколько уж ваши склюют?» — «А все равно — не положено, колхозное раз...»

Он закончил покраску и медленно разогнулся.

— Ну, пойдем, что ля, в хату?

В сенях Никита остановился возле умывальника, намылил куском хозяйственного мыла руки, взял лежавший тут же, на подставке, гладкий брусок кирпича и стал им оттирать прилипшую краску. Два раза намылил, два раза потер — и руки чистые, красные от жестокого кирпича.

— Сичас Клавка из кооперации придет, пообедаем... А ты пока включай телевизор, можа, концерт какой передають. Не стесняйся...

Я прошел в чистую горницу с новыми полами. Сел за стол, накрытый льняной скатертью. На столе в беспорядке лежали журналы «Радио». Я взял один, начал от нечего делать листать. Никита переодевался, увидя мое занятие, сказал:

— Это Виталька, меньшой наш, радивом балуется. Вы с Володькой учились — никаких отвлечений, журналов там да телевизоров. И было дело. А сейчас им, — он, должно, имел в виду Виталькино поколение, — не до учебы. Поспевай по кинам бегать, концерты слушать, мастерить приемники всякие. А ить десять классов кончить не заставишь, на завод норовять...

— Многих, я вижу, из колхозов завод переманил, — сказал я, поддерживая разговор.

— Дыть мужиков в основном да ребят. А и кто в колхоза остался, не горюют, хорошо зарабатывают. Вот Аркашку возьми — под триста рублей в месяц выходить. В колхоза теперь можно работать. — не те времена.

Я встал, подошел к стене с фотографиями: любимое мое занятие в крестьянских избах — рассматривать фотографии. Много Вовкиных снимков. Вот он со своим классом, вот несколько армейских, с женой и дочерью. В отдельной рамке похвальный лист — еще за пятый класс.

Я тогда учебный год тоже закончил на отлично. Вовке похвальный лист дали, а меня обещали послать в «Артек». Я готовился уже к отъезду, школа сатину на рубаху купила, штаны мне пошила Даша, как вдруг сообщили, что поездка не состоится. Может, горевал я, узнали, что курю, и не взяли. А Дуня сказала, что это кто-нибудь из районного начальства вместо меня свое чадо послал. Не знаю, что случилось на самом деле, только мне было очень горько и обидно, и я не раз по ночам плакал.

Тем же летом я поступил в Свободу. Тут, правда, помогли мои пятерки. Меня не хотели принимать из-за маленького роста, но, увидев мой табель, приемная комиссия смиростивилась и взяла с меня слово, что я буду расти.

— А Нина ваша где? — спросил я, рассматривая увеличенную фотографию пышноволосой красавицы, снятой в профиль.

— Та же, в Белгорода. Электриком. Вот приезжала с мужем, стиральную машину подарила. Теперь моя Клавка и горюшка не знать. Включила — и штаны с рубахой чистые...

— Почти как в городе, смотрю, живете.

— И то верно. Толька асфальта не имеем, — согласился со мной Никита. Он вытащил пачку «Севера», закурил, синяя паутина дыма медленно поползла к потолку.

— Самосаду изменили?

— Ды нет, сохнить пока. Никак изготовить не соберусь. А ты бросил, говоришь?

— Бросил.

— И то дело. А мой Володька маленьким не курил, а вырос — начал, дурачок. В армии. В институте полгода один раз терпел, а не вытерпел.

Он был в клетчатой новой рубаше, застегнутой на все пуговицы, синих хлопчатобумажных штанах, на ногах — свежие носки. Все трогал небритый подбородок, время от времени поглядывая в овальное зеркало на стене.

— Тут, понимаешь, должны пионеры ко мне притить, следопыты какие-то. Участников Курской битвы ищут. — Подумал, сделал глубокую затяжку. — Вот бы и отца твоего пригласить. Да... Я вон в газете читаю, у многих деревнях памятники своим погибшим землякам ставят. С фамилиями, с годами рождений... Надо сказать следопытам, и у нас, можа, они провернуть это дело.

Я уже придумал место для памятника. На выгоне перед колхозным садом, где сейчас мальчишки футбол гоняют. Нужен такой памятник! Верно говорю?

Верно, верно, Никита Комаров! Очень даже верно, дорогой! И не обязательно ставить памятник, а можно бы скромный обелиск с именами хорошаевцев, отдавших на войне жизнь. Я уже зримо представляю его и рядок в четырнадцать имен. Где-то в середине списка — фамилия отца: «Клепин Захар Герасимович. 1904—1944».

Это нужно не столько для увековечения памяти погибших, сколько для нас, живых. Скромная плита может стать магнитом для меня, для другого, для третьего. Тот магнит будет вечно притягивать к земле отцов наши прижившиеся в городе сердца. И придет тогда бывший хорошаевец проведать подернутую дымкой воспоминаний Страну Детства, «могилу» своего без вести пропавшего отца. Положит букет полевых цветов, постоит в молчании возле серого камня и еще сильнее почувствует, как дорого заплачено за его жизнь, за ту тишину над деревней, за ароматный воздух, которым он дышит. И может, кому это поможет переосмыслить прожитое, заставит спросить самого себя: а что я оставил на земле?..

— Ну, вот и Клавка идет, — прервал мои мысли Никита. — И не егози уходить, оставайся обедать.

Когда ни иду по деревне, Сергей Максимович навстречу. Старый уже, седой, толстый нос оброс волосами, одно ухо у шапки висит, другое подоткнуто, а фуфайка — будто стая ворон напала на Сергея Максимовича и повидергала из фуфайки клочья ваты. И когда б мы не встречались, он каждый раз волочил сухую связку хвороста.

— К зиме готовитесь? — кивал я на хворост.

--- К ней, браток.

— Так тепла-то от хвороста — пшик один.

— Это верно. Дрова да уголек у меня есть, да только и хворост не помешает. Пусть на дворе лежит, он есть не просить... Ты б зашел когда-нибудь ко мне, что ли.

Обменяться с Сергеем Максимовичем несколькими фразами я еще могу, а чтоб в гости — ни-ни! Боюсь я этого человека, не люблю. Может, зазря — ведь ко мне-то он хорошо относится. Да только сердцу не прикажешь.

И все началось, должно, с одного случая...

Невеселой весной сорок седьмого года Сергей Максимович со своими двумя сыновьями обвешал все тополя возле своей хаты, ясень, яблони скворечниками. Деревенские ходили и посмеивались: «Ай, Максимычу делать нечего, что ребячеством занялся?» И никому в голову не могло прийти, что задумал Сергей Максимович.

А однажды вечером Никита Комаров, живший почти напротив, принес ему подбить сапоги — на завтра Сергей Максимович собирался в район ехать — и застал семью за неблагоприятным занятием: скворцов общипывали. Тут наконец и допетрил Никита, почему в скворечниках у его соседа такие большие отверстия — чтоб рука пролазила.

Ну, и заговорила вся деревня. Тогда Сергей Максимович велел сыновьям поснимать скворечники все до одного. Поснимать они снимали, да только люди теперь, приближаясь к усадьбе Сергея Максимовича, переходили на другую сторону.

То все я по знакомым да к родне ходил, а тут вдруг ко мне гость пожаловал. Под вечер пришел, я как раз «Пионерскую правду» читал (Дуня только эту газету

выписывает — самая дешевая). И тут заходит он, Славка Калужских, бывший однокашник и одноклассник. Так случилось, что во время моих последних наездов в деревню его дома не оказывалось, и мы не виделись, наверно, лет десять.

Посолиднел Славка, в плечах раздался, широкие глаза оплывать стали. А был-то, помню, высокий да худущий, шея длинная, как у гусака. В людном месте так вот теперь встретишь его и не признаешь.

Обнялись, тернулись щеками.

Славка снял мокрый брезентовый плащ — на дворе к вечеру негустой дождик закапал, — бросил его в угол возле двери.

— А я слышал, что ты приехал, да никак время не выберу зайти, — усаживаясь на старый скрипучий стул, говорил Славка и все не сводил с меня глаз. — Вон какой ты стал. Я тебя меньше ростом представлял, ты ведь в школе вот таким карапетом был.

Он выставил на стол бутылку портвейна.

— Извини, ничего лучшего в магазине нету.

— А чем портвейн плох? — усмехнулся я.

— Да оно верно, тока на Руси встречи принято отмечать более крепкими напитками.

— Тогда отодвинь вино в сторону. . .

Я метнулся к чемодану и вытащил хранившуюся на всякий случай бутылку коньяка. Славка вытаращил глаза от удивления, подскочил со своего скрипучего стула, хлопнул меня по плечу.

— Вот это номер ты отчубучил! Как фокусник: раз — и есть!

Несколько месяцев назад мы вот также сидели с моим училищным другом Василием Сахаровым. С той лишь разницей, что стол был побогаче. Теперь вот со Славкой Калужских сидим и медленно распутываем пережитое и

прожитое. Пьем маленькими глотками коньяк — я из алюминиевой кружки, Славка — из граненого стакана. Закусываем пахучими антоновками, которыми угостил меня Дунин сосед Васька Хомяк — из командировки привез.

За окном тихонько шумит мелкий дождь, время от времени с клена слетают желтые листья, похожие на гусиные лапки. В колхозном саду мычит привязанный и забытый чей-то теленок.

За стеною Дуня гремит ведрами — готовит, должно, месиво второму поросенку. Беспокойным он стал, визгливым после того, как мы отвезли в Золотаровку его соседку по закутку. Дуня думает, что это он есть хочет, и кормит его по пять-шесть раз в день. А поросенок наверняка от одиночества мается.

Вдруг Славка говорит:

— А я часто вспоминаю, как ты на экзамене в четвертом классе мне подсказывал... Забыл небось?

— Э-э, — ответил я, — кому-то я подсказывал, кто-то — мне, разве все упомнишь?

— Что верно, то верно... Мы тогда диктант писали. А я слабак был по русскому! Николай Гурьевич и отсадил от тебя Вовку Комарова, а на его место — меня. И шепнул еще тебе: «Помоги...» Ты весь урок и подсказывал. Четверку я получил тогда...

Глаза у Славки повлажнели от умиления. Он все уверяет меня, что я ему тогда здорово помог, что благодаря мне он не остался на осень.

— А в пятом классе я уж подналег на русский! Неудобно было Николая Гурьевича подводить... Ты не виделся, кстати, с ним?

— Нет, не успел.

— Молодеет старик! Член бюро райкома. Его сам Бирюков побаивается... Директором средней школы его

хотели поставить, не согласился: жаль свою болотновскую восьмилетку бросать. Я, говорит, тут нужней... Да... А еще раньше один его знакомый в облоно сманивал. Это он мне по секрету сказал. Сослался Николай Гурьевич на здоровье, а сам так размышлял: я, мол, уеду в город, другой уедет, а кто деревенских детишек учить будет?.. Идейный старик!

Утихли воробьи под крышей — спать улеглись. Дождик перестал, но поднялся ветер, стряхивая с листьев прилипшие капли. Колхозный механик Славка Калужских смотрит задумчиво в окно, часто моргает, видимо, вспоминает что-то.

— А тебя, Слав, не сманивали в город?

— Не, не сманивали, но после техникума можно было устроиться в пригородный совхоз. Десять минут — и в центре. А я к себе попросился. Думаю, родили тебя в Хорошаевке, учили там дурачка, диктанты подсказывали и в знак благодарности — ручкой помахать? Да как я, думаю, после этого тому же Николаю Гурьевичу в глаза посмотрю, матери наконец своей? Меня ребята из нашей группы глупцом обозвали, а я все равно на своем стоял: чего ради буду какой-то пригород поднимать? Кто в таком разе Хорошаевку поднимет?

— Ты, смотри, как Николай Гурьевич мыслишь...

Довольный таким комплиментом, Славка развел руками:

— С кем поведешься...

— Тогда выпьем за патриотов деревни!

— Смеешься?

— Серьезно. За Николая Гурьевича, за тебя...

— За тебя.

— Я тут ни при чем. Я посторонний, рядовой отпускник.

— Так-таки уж и посторонний! — не согласился Славка.

Теплом разлилось по телу выпитое. Расслабленность и облегчение почувствовал я.

Славка крикнул и замотал головой:

— Не, белая таки вкусней.

Черт побери, странный у меня друг! Раньше мне казалось, что стоит любого деревенского парня только поманить пальцем в город (о стариках не говорю, эти просто так не сдвинутся), как он тут же улетит, забыв и «до свидания» сказать. Особенно если кто повидал уже город — в армии ли, на учебе какой. Ради одного асфальта, думал я, убежит, ради выходного. Вон у того же Славки три костюма, говорит, висят неодеванные, туфли голландские обновить не может, некогда. Деньги, говорит, есть, жратвы полно, а замотался, в летние месяцы света белого не видит. И кому нужны в таком случае твои деньги, твоя жратва?

Другой бы и пристроился где-нибудь (и пристроилось сколько!). А Славка вот не изменил деревне, остался...

Что-то будет через несколько лет? Ужель нельзя как-то придержать людей?

— А наш Бирюков говорит, что ему много народу не нужно. Мне, говорит, машин много нужно, — угадывая мои мысли, сказал Славка. — И ничего, говорит, тогда нам не будет страшно, езжайте кто куда хочет — не держим, а когда надумаете возвращаться, мы еще, говорит, посмотрим, нужны вы нам или нет... Вот такие дела. — И неожиданно Славка спросил: — Ты хоть представляешь наш колхоз?

— Слышал: огромный. Два бывших сельсовета.

— То-то. Пять тыщ пахоты, а полеводов — всего сто двадцать человек. И управляемся, не зимует, как раньше, та же свекла...

— А конопля? — уколол я. — Где скошена вон стоит, где не скошена.

— Так вот Бiryюков и правильно говорит: нужно больше машин. А мы пока что вручную вяжем коноплю, подаем на комбайн, грузим... Но и она зимовать не останется: со свеклой, считай, разделались, теперь за коноплю возьмемся.

На деревню наступала тягучая осенняя темнота. Славка, не вставая, потянулся к выключателю, зажег свет. Глазам на мгновение стало больно, и я зажмурился.

Протарахтел мимо трактор.

— Аркашка Серегин поехал, — сказал Славка и неожиданно засобирався. — Прости, помешал я тебе, — кивнул на недочитанную «Пионерскую правду».

— Успею. А что зашел — молодец.

Я проводил его до дороги, пожали друг другу руки, и он быстро, уверенно, не боясь оступиться в этой темноте, зашагал на свой конец деревни.

— Я грушу эту, тах-та во, спилить хотел, — рассказывает Федор Кириллович, — а потом думаю: черт с ней, пусть растет. Никто на нее в такие года и внимания не обращать, а нынче засуха, неурожай в саду, так вот все соседи и ходят к ней, набирают, кому сколько влезя. Сергей Максимович даже с ведром был...

Федор Кириллович похаживает в сторонке, покуривает, а я уселся на корточках под густоющей грушей-дикаркой и прямо из травы достаю опавшие, вызревшие, те, что посвежее, почище, желтые грушки и отправляю их в рот. Груш много, хоть лопатой гребь, много и погнивших, растоптанных.

— И скажи ты, как уродила, тварь, — продолжает Федор Кириллович. — Весь сад погорел от засухи, а етой хоть бы что... В урожайный год на ней ни разу столько не было.

— А чего вы их не сушите, груши-то? — спрашиваю я.

— Ды ну их. У нас еще позалетошние есть.

— Ну, намочили б. Моченые груши — я как-то на рынке покупал — очень вкусные.

— Можно, твое дело, и намочить. Отчего ж нельзя? Дык ето ж возиться нужно. А и не принято у нас мочить, сам знаешь, не очень умеем... Вот уродила, тварь! Должно, корень у нее сильный.

Шаркая резиновыми сапогами, подошла тетя Варя. Скучно одной дома сидеть, вот и явилась. Стала, смотрит, как я аппетитно умолачиваю груши. Руки на животе скрестила.

— Чем жа тебя Дуня кормить? — спрашивает без обиняков, видно, ей показалось, что я голоден. А может, ради простого бабьего любопытства.

Я жую и доверительно перечисляю:

— Кормит щами, яишницей, кашей, трех петухов уже зарубила, молоком...

— Молоком? А игде ж она его береть?

— Мне приносят Валя Беженка, тетя Клава Никиты Комарова...

— Ишь ты! Я уж анадьсь подумала: соскучилси он-де тут по молоку-то. Мы, как на грех, тожа летося корову продали.

— Из-за кормов, поди?

— Не, — ответил уже Федор Кириллович. — Оно, племяш, вишь, какое дело. Кормов достать можно, дык мороки с коровой много. Особливо, тах-та во, летом. Пастуха-то теперь нетути, сами стерегут. А куда мне или

Варьке, к примеру, стеречь? Добро, хоть с поросенком да с курами справляимся. Это у кого детишки есть, корова нужна. А старикам...

Наконец я наелся груш, десяток еще в карманы положил.

— Можя, в дорогу возьмешь? — спросила тетя Варя.

— Некуда.

— А в чемодан?

— Битком там. Да и помяться груши могут...

— Это-то правда. А то возьми, все одно пропадают...

Я попрощался и спустился к речке, где буйствовали непроходимые лозняки. Они роняли в воду желтые листья, плывущие по тихому течению, будто перевернутые на бок плотвички. Сейчас пройду вдоль берега до Захариковой косы, а там, мимо огородов, домой. К Дуне то бишь. Это мой излюбленный маршрут, и совершаю я его, бывает, по нескольку раз в день. Дышу, наслаждаюсь осенью, с грустью думаю о скором расставании. И уже твердо решаю, что в следующий раз приеду не на недельку, а минимум на полмесяца. И точно в такую же пору, когда нет жары, но столько тепла и света.

На выгоне перед колхозным садом весной мальчишки поставили из необструганных ракушечных жердин футбольные ворота. Жерди пустили корни, и теперь от ворот во все стороны торчат ветки-прутья.

Каждый вечер, когда ребята возвращались из школы, на выгоне бывало людно. Мяч метался из одного конца в другой, как обложенный зверек, то резко взмывал вверх, опускаясь медленно и неохотно. Игроки были разных возрастов — от шмыгающих простуженными носами первоклассников до гривастых выпускников. Нередко

из-за неукомплектованности команд дозволялось играть и девочкам.

Я любил наблюдать эти жаркие футбольные схватки, где не было судей, но правила неукоснительно соблюдались, и если кто кого «подковывал», то это не было злоумышлением и потому провинившийся никак не карался. Крик ребячий стоял над выгоном, иногда его прерывал голос чьей-нибудь рассерженной матери: «Петька, паразит, я тебя гусей послала искать, а ты, бесстыжий, футбол гоняешь».

Почти так несколько минут назад из команды вывела своего Сашка Марина Тимохина. Налетела, как буря, глазами молнии извергает. Сашок на воротах как раз стоял. Мать схватила его за рукав и поволокла за собой, громко крича: «В кого ты толька уродилси, супостат етот? Как поросенку картошки натоlochь, так у него голова болить, а как тут пропадать, так куда и хворь девалася! Я целый день у колхоза, а он, супостат, картошки не можить натоlochь!..»

Остановилась игра, футболисты проводили печальными взглядами понуро шедшего за матерью Сашка.

Выбыл из одной команды игрок. Было пять на пять, стало пять на четыре.

— Эй, Людк, уходи, — скомандовал Генка Тубольцев, подросток-крепыш, дочке Васьки Хомяка. — Будем четыре на четыре.

Семиклассница Людка неохотно встала за воротами, покусывая с досады губы. Взглянула вопрошающе на меня: может, дескать, вы замените Сашка?

Я бы смог, конечно. Сам когда-то по полдня играл — и на этом выгоне, и на настоящих полях. Сначала защитником был, потом в крайние нападающие меня перевели — точно и сильно умел я бить по воротам.

А вообще — будь что будет. Поздно осуждать меня

деревенским бабам: свожжался, мол, с ребяташками, а еще в галстук. А если и осудят, так в пустой след — завтра я уезжаю. Зато Людка не выйдет из игры как лишняя...

— Можно, я вместо Сашки? — тихо спрашиваю Генку и вступаю на поле.

— Иг-грайте, — несмело соглашается он. — Людк, заходи снова.

Счастливая Людка залетела в центр поля и приготовилась принимать мяч.

Я сначала играл шутя. Возле ворот, в защите. Стоял и подстерегал нападающих соперника. Особенно шустрый, лет двенадцати, один мальчишка ретиво играл. Но куда ему обойти меня! Я — как стена перед ним вырастаю, ни убежать, ни ловким финтом обмануть. От мяча легко его отстранял корпусом — дозволенный прием.

Постепенно я входил в азарт, потому что так же постепенно шустрый мальчишка приспособливался ко мне и все чаще стал меня обыгрывать. А в один из прорывов он сделал пас Людке, и та «щечкой» кеда несильно подправила мяч в ворота. Гол!

Шустрый ликовал больше всех, Людка почему-то смотрела на меня виновато: мол, извините, я не хотела забивать мяч, я только ногу подставила, а он сам влетел. Только не обижайтесь на меня, молили ее глаза, и не уходите, я еще не наигралась.

А я и не собирался уходить. Как уйдешь, если твоя команда проигрывает?...

Получаю мяч от своего вратаря и медленно двигаюсь вперед. Шустрый путается под ногами, нечаянно бьет по щиколотке. Я терплю и даже не прихрамываю, ухожу от шустрого в сторону. Дышать тяжело, запыхался уже, чувствую, что на большее сид не хватит. И тогда —

метров с двадцати пяти — бью по воротам. Мяч летит низом, ударяется об обросшую ветками штангу и юзом вкатывается в ворота. Один — один.

Я рад, но сильнее меня радуется Людка, подзадоривая меня.

— Ну и врезали! — кричит она. — Ну и удар!

Шустрый косится на нее и ворчит:

— В другой раз не примем.

Я вытираю потный лоб, занимаю место в защите.

С дороги смотрит на меня какая-то сухонькая сгорбленная старушка.

Бог ты мой, так это же Дуня!

— Иди, детка, ужинать, — зовет она.

Не могу послушаться хозяйку. Да и приустал. Подбегаю к Генке Тубольцеву, сообщаю, что, к сожалению, выхожу из игры. Жаль было выходить, вроде бы с детством, вернувшимся на несколько минут, прощался.

Генка махнул рукой: иди, мол! И я ушел, завидуя ему, подростку-крепышу, чем-то похожему на давнего меня, что он еще оставался играть, что у него еще продолжалось детство.

Поднявшись на голый михеевский бугор, я остановился, поставил у ног чемодан и оглянулся. Последний раз оглянулся на Хорошаевку — дальше дорога пойдет вниз, и деревня моя скроется за горизонтом. Правда, и отсюда хат почти не различишь — они прикрыли свои белые бока садами, ракетами, густым вишняком. Виднеются на зелено-желтом фоне только серые шиферные и цинковые крыши. Соломенных осталось штук пять-шесть и те доживают свой век.

Все еще стоят в конце деревни Дуня, Федор Кириллович, тетя Варя.

Они проводили меня до моста, и там мы распрощались. Дуня вытерла слезы на глазах — опять одной оставаться, шепнула:

— Ты, детка, приезжай еще... Не обижайся, если что не так...

Федор Кириллович напряженно курил, изредка поглядывая на паука, отдохавшего на плече.

— Ты, племяш, не забывай деревню, не зарывайся глубоко. Я ить прадеда твоего помню, деда Герасима, с отцом товарищами были — весь твой род из земли этой вышел, в ее, матушку, и ушел. Так что, племяш, проводи их, навещай... Тах-та во! И не один, а с женой, с детьми в следующей раз-то...

Он обнял меня, поцеловал, с надеждой посмотрел в мои глаза.

— Приеду, — пообещал я, — обязательно.

А тетя Варя все напоминала прислать фотокарточки двух моих дочерей.

— Тебя-то мы знаем, — говорила она, — а в кого они пошли?

На слово же не верила, что дочери похожи на меня.

Последняя печальная минута, и я шагнул на мост.

Первые полкилометра я не оглядывался, но чувствовал, что три пары глаз все еще смотрят мне вслед.

Меня обогнал Аркашка Серегин на своем тракторе.

— Садись — подкину, — крикнул он из кабины.

— Спасибо, но пешочком приятней.

— Как знаешь. Держи лапу.

Дернулся трактор, выстрелил в небо очередью черных колес, покотил на станцию.

Бугор обдувало сильным ветром. Нес он запахи вспаханной земли, последних осенних цветов и озими. Заполошно кричали грачи, холодно поблескивала тонкая

полоска речки, светло-желтыми папахами белели в полях скирды соломы.

Может, пять минут я стоял, может, десять, — не знаю. Стоял и не торопился проститься с родиной. Благо, у меня было время, чтобы не опоздать на поезд.

Было время для раздумий...

А в синем небе надо мной, над Средней Россией проплывали в сторону Орла белые густые облака.



СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Ученик	7
В порядке исключения	16
В конце месяца	22
Последняя смена	33
Отгул	36
Пять дней в запасе	42
Про одно дежурство	64
Рассказы кузнеца Шанина	
Автобиография	57
Как я друга потерял	60
Холодильник	62
Объявление	64
После лекции	65
Сын мой, Колька	66
Прозвище	68
Двадцать первого декабря	69
В подшефном колхозе	72
Песенная профессия	77

ПОВЕСТИ

На свои хлеба	83
Особый спрос	129
Вот моя деревня...	215

Лепин Иван Захарович
ОСОБЫЙ СПРОС

М.- «Советский писатель». 1974, 296 стр. План выпуска 1974 г. № 34. Редактор *В. А. Солоухин*. Художник *А. И. Гольдман*. Худож. редактор *В. В. Медведев*. Техн. редактор *М. А. Ульянова*. Корректор *С. Б. Блауштейн*. Сдано в набор 15/XI 1973 г. Подписано в печать 19/II 1974 г. А 02043. Бумага 70×108¹/₃₂, тип. № 2. Печ. л. 9¹/₄ (12,95). Уч.-изд. л. 12,39. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1241. Цена 45 коп.

Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

